

ДМИТРИЙ
ПРИТУЛА

Поворот ключа





ДМИТРИЙ
ПРИТУЛА

Поворот ключа

ПОВЕСТЬ

*Советский писатель
Ленинградское отделение
1980*

Герой приезжает проститься с родителями, он тяжело болен... Пожилой человек сделал деревянные часы, которые никогда не остановятся... Пятидесятилетний мужчина внезапно исчезает на семь дней. В городе Фонареве шумная свадьба — веселье для всего города...

Повесть охватывает всего два дня, но и за это время происходит немало событий... Здесь мешаются подробности быта с фантастикой, быт стремится прорваться к бытию, а фантастический элемент стать повседневностью. В какой мере это удастся автору? Остановятся ли часы? Будет ли главный герой в ладу с самим собой? Что есть любовь и что есть время? Вопросы поставлены.

...и они, знал Павел Иванович, станут насмехаться над ним. Он и сам не мог объяснить, как додумался до этого, более того, как у него получилось все, и сейчас лишь твердо уверен был, что — получилось.

1

Два ранних взрыва, а между взрывами — короткая, притаившаяся тишина.

Туманцем потянуло, легким, прозрачным, солнышко из-за домов выползает, ранним теплом подпаливает, подкрашивает туманец, розовый, летучий.

Взрыв первый — ах-ха! — внезапное оживление двора, захлопали двери, заспешили люди. Вздывая розовую пыль, взорвали тишину суетой и спешкой. Взрыв второй — ша-ак! — только электричка притерлась к платформе, понеслись голову сломя лихачи — десять минут до девяти часов осталось — а ну постой, а ну дорогу дай, духу-то хватает всякий день ездить из города, а это шестьдесят километров — или так уж сладки фонаревские хлеба, так ли слаще городских?

И снова тишина, уж теперь-то долгая да знойная — лета накат, июнь распалается, белые ночи, как слезы прозрачные, к горлу подступают.

Тишина, пух тополиный плывет, шаркает размеренно метла — кто это там на платформе стоит, руку ко лбу козырьком приложил, на залив глаза, на крепость белостенную? Турист залетный, чемоданчик у него клетчатый да на молниях блестящих — продвухное существо — вот увидишь такой чемоданчик, и хозяин его уж заранее противен тебе. Ха! Лицо знакомое, да никак это к Павлу Ивановичу сынок прибыл? Давно, дружок, не захаживал, давно, голубь, не залетал в родные палестины.

Казанцев прошел мимо сараев, пересек пыльный двор и подошел к дому, где провел первые семнадцать лет своей жизни.

Дом неузнаваемо изменился после недавнего капитального ремонта — надстроили четвертый этаж, стены, прежде красные с черными подтеками, сияли белизной.

Казанцев позвонил в квартиру, которую в письме указала ему мать, но никто не вышел, и это было странно, отец должен быть дома — девять часов, куда мог уйти пенсионер.

На всякий случай он откинул коврик и усмехнулся — под ковриком лежал ключ.

Казанцев приехал к родителям на три-четыре дня. В годы студенчества он проводил здесь зимние и летние каникулы, постепенно жизнь его становилась все более обеспеченной, и он стал ездить на Юг и за границу и приезжал сюда все реже и реже. Не приехал бы и сейчас, если б не крайняя нужда — через несколько дней его должны оперировать, врачи предупреждали, что операция может опоздать, и тогда

этот приезд к родителям, знал Казанцев, будет не только коротким, но и прощальным. Родителям он ничего не собирался говорить — он жалел мать, — да они ничем и не могли ему помочь.

Мебель в квартире была прежней: пружинный диван, красный необъятный шкаф, родительская кровать с панцирной сеткой, абажур. Все это напоминало их прежний быт — коммунальный, клоповный, склочный, с кухонным керогазным чадом.

Мозг Казанцева помнил тот быт, душа же и сердце были тусклы; Казанцев так далеко уплыл от своего детства, что его уже ничто там не держало.

Он радовался, что скоро увидит мать, но и огорчался, что внешне он так изменился за последний год, и матери будет больно видеть эти изменения: всегда человек крепкий и спортивный, Казанцев похудел и ссутулился, под глаза легли дряблые мешки, лицо покрылось мелкими морщинами, и оттого, что цвет лица стал сероватым, чуть пепельным, кажется, что он всегда небрит.

Казанцев постоял у окна, глядя на главную улицу города. День ожидался жаркий, накальный, над зданием почты выкатывалось белое, чуть даже влажное солнце, под окнами цвели липы и единственный в городе каштан, неизвестно кем, когда и какой судьбой заброшенный с привычного юга в холодную северную землю.

Делать в квартире было нечего, и Казанцев вышел во двор. Тускло блестели листья тополей, с залива доплывал легкий теплый ветер, по двору, поднимая пыль, проехала милицейская машина, и пыль долго не оседала. Казанцев шел по улице Нижней и не узнавал ее — старые деревянные домики снесли и выстроили четыре типовых пятиэтажных дома.

За забором у здания милиции лаяли служебные собаки, и вот уже по пыли, крикам, скоплению промтоварных, книжных, пивных ларьков угадывалась близость рынка. Колхозную улицу перегораживала очередь сдающих посуду, и вот тут, чуть в отдалении, стояла желтая часовенка, здесь-то и торговала керосином мать Казанцева Евдокия Андреевна.

Прежде в этой часовенке был буфет, затем жакт, магазин тканей, книжный склад, снова буфет и снова жакт, и вот двадцать лет керосиновая лавка.

Казанцев заглянул внутрь и, не увидев покупателей, вошел. В полутьме он разглядел лежавшие и стоявшие на каменном полу бочки, на стенах висело два огнетушителя, три дощечки с надписью «Керосин 2 л — 13 коп», на прилавке лежала паста «Лебедь», порошок «Новость», мыло и универсальное моющее средство «Лоск». Матери не было.

Наконец он заметил ее склоненную над лейками спину.

— Вам чего? — спросила мать.

— Керосину, — испуганно ответил он.

— Десять, или сколько войдет?

— Сколько войдет, — а уж не сдержался, а уж в горле пересохло.

— Володя? — удивленно спросила мать. — Вовчик! — вскрикнула и отбросила разделявшую их доску. — Тепа! — так звали его в детстве, первые его слова были «топ-топ», так вышло Тепа, и вот уже обняла, прижалась к нему.

Вот оно детство — прах распавшегося времени, пахнущая керосином горстка пепла, горькая и едкая, как миндаль.

В детстве он стыдился того, что мать торгует керосином, а отец — контролер на железной дороге, это

уж потом, когда чего-то добился — в молодые, в сущности, годы ведущий специалист НИИ кораблестроения, — он гордился, что родители его простые люди, потому что выходило, что всего он добился сам, и люди видели — он из простых, а вот какой приткий.

— Не ждали? — спросил он.

— Что т-ты! Как еще ждали, — она оторвалась и принялась рассматривать его. — Но ты числа-то не назвал, вот я и не взяла выходного. Да что ты похудел так, Вовчик? Здоров ли?

— Здоров, мама.

— С Надей не поссорился?

— Да нет, все мирно.

— Так не кормит, что ли?

— Кормит.

— На работе замучили, выходит. Ты легко-то не давайся. А то везде так: как кто посильнее, так на него и куча мала.

— Это я с дороги. Отосплюсь.

— Скажи-ка ты мне, постарела мать-то?

— Нет, мама, ты совсем молодая, — засмеялся Казанцев, и впервые за много дней ему стало легко — нет привязанности, и любви-то сыновней, привычной, может, нет, но вот есть понимание, что она живет, и это все в порядке.

— Что т-ты! Постарела твоя мать, Володя, постарела. Волосы, глянь, седые вовсе. И растолстела твоя мать, Вовчик, ты ее теперь и не узнаешь. И зубов у нее нет. Хорошо, глянь, хоть вот тут есть, — и она указательным пальцем оттянула угол рта, — так хоть мосту есть на чем держаться.

— А как здоровье, мама?

— Да на здоровье твоя мать не жалуется. Вроде бы еще хоть куда, — и мать ушла за прилавок.

— Как теперь торговля идет? Небось город перевели на газ?

— Не весь, однако, не весь город, заметь. В мичманских домах тью-тью. Это тебе раз. Вся Слобода ездит — это тебе два. Да и Второе Фонарево на керосине сидит — это уже три. Но все равно торговля теперь какая? Ты вспомни — раньше мы сами по себе были да нас еще и похваливали, а теперь отнесли к хозяйственному магазину, как мы вроде бы нахлебники. Что т-ты! Раньше семьдесят рублей за день и недовольна, а теперь тридцать — и молодец.

— Жить, выходит, стали лучше?

— И это, конечно. Но главное — в новых домах газ.

— А отец где?

— Вот поговорил бы с ним. Ведь старик совсем, шестьдесят семь. Совсем рехнулся твой отец. Может, тебя послушает — ученый же ты человек.

— Так где отец?

— А где быть твоему отцу? Твой отец, как водится, в сарае. Ты помнишь ли, где наш сарай?

— Помню.

— Так вот, твой отец на старости лет там, что ли, мастерскую себе устроил. Он и дома-то не бывает. И знаешь ли, Вовчик, что делает твой отец?

— Табуретки?

— Когда бы так. Хоть продать можно. Так нет. Сказать смешно — часы он деревянные делает.

— Как деревянные?

— Так. Деревянные. Ну, купи железные. Дешевле выйдет. А он — деревянные. Пять лет делает. Вот как ты в последний раз уехал, так и делает.

Мать жаловалась на отца охотно, как бы даже и с наслаждением.

— Да и дорого это выходит. Ты помнишь, он все ветки да корни собирал?

— Помню. Подсвечники делал.

— Ну, зверушек разных. Так это бы ладно. А то ведь инструмент ему дорогой подай. Лучше всего — чтоб старинной работы. Там, смотришь, трешка, там — десятка. А то какая-то трубка испортилась, заказал знакомому с авторемонтного, так двенадцать рублей отдал. Еще и посмеивался — материал редкий, полсотни стоит. Вот и так. А пенсия у него шестьдесят восемь. А он, отец твой, живет сам по себе, и ничего-то его вроде не касается.

— Хорошо, я поговорю с ним.

— Или не надо. А то будет канючить — мол, мать нажаловалась. Или ты сам сообразишь. Иди. Вечером все и поговорим.

— Ты Вере скажешь, или мне зайти?

— Да в перерыве забежит она. Каждый день забегает. Ждет очень.

— Может, нужен для чего.

— Не знаю. Только вряд ли. Скучает. Брат ты старший.

— Это верно, брат.

— Жаль, не пишете друг другу.словно б чужие.

— Как-то не получилось.

— Ладно, ты иди. Отец, значит, в сарае. Так ты постучи тихо и подожди, а если не откроет — а он не откроет, — тогда назовись. Еда в холодильнике. Ты с дороги перекуси, а я в два часа прибегу и покормлю вас обедом. Иди, — повелительно махнула она.

— Иду.

— Тепа, мальчик, — окликнула его, когда он подошел к двери, и Казанцев снова подошел к прилавку. — Соскучилась по тебе, — пожаловалась она, иска-

тельно вглядываясь в его лицо.— Совсем ведь не пишешь. Приболел небось, сказал бы.— И снова стала строгой.— Поесть не забудь. А вечером все посидим за столом. И вот еще: завтра на свадьбу идти.

— На какую еще свадьбу? — удивился Казанцев, заранее зная, что никуда не пойдет: он станет завидовать чужому веселью и надеждам на будущее счастье, и это будет нестерпимо и унижительно.

— Дочь Михалева выходит, Таня.

— Дяди Кости, что ли?

— Ну. Как не пойдешь!

— Не пойду. Постой, она же маленькая.

— В детский сад, что ли, думаешь, ходит? Двадцать два, верно. Своим порам в детский сад.

— Да, время идет.

— А ты думал!

Казанцев шел по проспекту и думал, что вот не знает даже, обрадуется ему отец или нет. Он переписывался не с отцом, а с матерью, вернее, она писала как бы от них обоих, и Казанцев подумал, что даже не знает почерка отца, может даже случиться, привычно и равнодушно подумал он, что никогда и не узнает.

Казанцев отдаленно помнил, как отец пришел с войны и ему тогда из-за сильной хромоты не разрешили сесть машинистом на паровоз, и он, уже привыкший к железной дороге и любивший паровозы с детства, не ушел с дороги, а стал кондуктором товарных поездов, но году в сорок девятом у него ухудшилось зрение и ему не разрешили работать кондуктором. Почему он и тогда не ушел с дороги, непонятно. Закончив краткосрочные курсы, отец стал контролером в поездах. Вот тогда-то пошли в семье бесконечные разговоры, что дневной план не выполнили (есть

план и на штрафы — тысяча рублей на бригаду, по тем деньгам, разумеется), и что часов положенных не наездил, и что бригада останется без прогрессивки. Эту работу отец не любил и, как только подошел возраст, сразу вышел на пенсию и больше на дорогу не возвращался.

Казанцев подошел к сараям. Это было длинное двухэтажное сооружение с галереей и пристройками, окруженное дровами, стояками, хламом. На каждой двери висел огромный замок и белой краской выведен номер.

Казанцев подошел к своему сараю и, увидя, что замка нет, осторожно постучал. Он услышал испуганный шорох, и вновь все стихло. Он еще раз постучал, но ответа не было.

— Папа, это я, — жалобно попросил Казанцев.

— Вова? — спросил сердито отец.

— Да, я.

— Сейчас, сейчас, — отец что-то суетился за стенкой, но Казанцева не впускал. — Тебе чего?

— Да в гости, — терпеливо ответил Казанцев.

— Ах, ну да. Ты прости, это уж я так... того... вырвалось, какое канальство.

2

Ну, черт ли его несет, думал Павел Иванович, суетливо натягивая чехол на вещицу, которую он делал пять, что ли, лет — он и сам не мог никогда правильно назвать ее: машина не машина, прибор не прибор, штука, словом, какая-то, и называл для себя «эта, как ее»; словом говоря, ну черт ли его несет, нашел, тоже сказать, время. Да для Павла Ивановича времени важнее, спешнее быть не может и не будет.

Конечно, нельзя сказать, чтоб сына или же вообще детей Павел Иванович не любил, конечно, любил, однако впрямую он общался с ними только в их детстве, а сейчас — через посредника, снимающего пенки с кипяченого молока, матушки ихней то есть, и любовь эта малость потускнела. Но, конечно, Павел Иванович знал, чем заняты его дети, и знал, когда они приедут либо придут к нему.

Он знал, что сын приедет погостить на срок короткий, но, поскольку точный день не указывался, Павел Иванович надеялся, что сын приедет дня через два и никак не раньше, то есть когда схлынет запарка Павла Ивановича, и тогда-то Павел Иванович ни на секунду не отойдет от сына, прямо-таки за руку будет держать его. А сегодня, ну, прямо сказать — вот как не ко времени.

Был Павел Иванович мал ростом, худ, подслеповат и значительно хром на левую ногу. Хоть волосы давно у него сивые, однако заметной плеши он так и не заимел. Как человек неработающий, брился он редко, так что на щеках его всегда торчала белая колючая щетина.

Если б сын или кто-либо из других людей спросил у Павла Ивановича, счастлив ли он сейчас и был ли счастлив прежде, Павел Иванович только рассмеялся б в ответ, дав понять так, что кто ж это посчитать может, кто ж это осмелится приблизиться к счастью слишком близко. А вот если бы кто спросил, доволен ли Павел Иванович собой вот именно сейчас, он бы ответил, что — да, доволен, но только сейчас. А о жизни всей что говорить, кто ж это может всю ее охватить, только человек посторонний, да и то оком равнодушным, холодным.

Дело в том, что в семье у Павла Ивановича никогда не было собственного голоса, то есть был какой-то чуть хриловатый, чуть пришепетывающий, чуть теперь даже и дребезжащий, но в семье этот голос значить ничего не мог. То есть как бы так получалось, что жена относится к нему не как к ровне, а как к старшему сыну — снимает с него все заботы, указывает, какой кусок за каким жевать и в каком порядке их глотать, и, конечное дело, Павлу Ивановичу собственное безголосье понравиться не могло. Однако смирял себя тем, что он лишь на некоторое время запасается терпением. Тем более что когда он был машинистом, то считал себя даже и повыше жены Евдокии Андреевны и уж тогда-то голос свой имел. А потом потерялся как-то человек, голос вроде поутих, ростом даже и то поменьше стал, вроде та же каша, а по-другому ее наворачиваешь, не с достоинством наворачиваешь, зная, что это только твоя каша, ты заслужил ее трудом достойным, но торопишься, обжигаешься, глотаешь судорожно — вон, глянь, идет кто-то, вон, слышь, сапоги о порог громяхают — то-то и будет человечище достойный.

Но терпел все. Потому что детей растить нужно было. Потому что знал: в один ясный день, когда Павел Иванович закончит эту, как ее, вещицу, Евдокия Андреевна, как и прочие другие люди, увидит его глазами незатуманенными, и день этот не за горами — день этот придет завтра.

Павел Иванович часто любил вспоминать те десять лет, что у него была лодка. И не просто лодка, а со стационарным мощным мотором. Потому что это спасение было. Знаешь — как ни случись, а май придет и до октября можно будет выходить в залив, а там, в октябре, и вытаскивать можно лодку на берег

и ближе к весне подправить ее — ишаклевку ей, покраску дать, словно б душа родная, что может быть лучше? А лучше вот что: весна да лето — белое блаженное время, тут все в тебе поет, уж знаешь, сделает бригада план, нет ли, а воскресенье настанет, это уж точно, кто б ни мешал, а приход его никто остановить не в силах, и вот-то, если ветер небольшой да волна сносная — эх-ха! — вот уж все тут, братцы, гаврики рыболовные, вот-то в три часа маета пошла, топают по причалу, рвут окриками дымчатую дремоту белой ночи, а колченогий Пахомыч, сторож на причале, уже чуть весел, подначивает всех, но и угождает всем, знает: с миру по рыбке — Пахомычу закуска, и добро, и ладушки, а те-то катер налаживают, на Ладугу прорываться будут, их там, слышь, рыбаки настоящие ждать будут, да уж не вам чета, карасиные папаши, так и валите, коптите рыбку и нам понюхать дадите — а ты куда, Павел Иванович, да вот на Михаила — а ты-то куда, душа портняжная, да куда ж на моем челноке, вот по камышам похожу, густера, слышь, приплыла — так вперед, повалили, повалили, рыбку только бы не распугать.

И мимо лодок, чьи хозяева сны видят, вперед к фарватеру, жаться к нему, но в сам фарватер не входить, и ручку держать крепко, а мотор не чихает, и лодка идет ровно, к Слободе ближе держаться, там волнишка поменьше, и так прямехонько держать курс на форт Святого Михаила, на Михаила, попросту говоря, а Михаил в дымке, в рассветной стыни поднимает из воды белые свои стены.

В пути забываешь, что отпускали тебя из дому не иначе как с руганью, да и непустили бы, если б не сделал то, что просили сделать, — коврики выбить, гвоздь на кухне вколотить, да еще, вишь ты, изволь

сказать, когда обратно будешь, а кто ж это сказать может, нет такого рыбака, всякий знает — быть беде. И тают при виде любезного Михаила обиды сердца, тут хоть все пропади, а день этот его, Павла Ивановича. Нет другого такого дня.

Пробовал Павел Иванович и сына, Вовчика своего, к лодке прирастить. С вечера хлопоты, суета, завтра как-никак в плаванье, и ранняя побудка, думал — дело общее, и, глядишь, попривыкнут друг к другу покрепче, поймет сын отца поболее, разделит с ним занятие это любезное. Однако ничего не вышло. Вовчик идти соглашался, чтобы отца не рассердить либо не обидеть, сам же ни разу не попросился. А вот в Доме пионеров сын первый — кораблик ли, планер ли смастерить, на соревнования куда-то ездил, даже медаль умудрился ухватить, а на рыбалке — нет, на Михаила идет без охоты, если рыбешку какую ухватит, то радуется только для виду. Павел Иванович так и сяк, ну, и отклеился от сына со своими приставаниями. Хотя, может, зря, может, и не уехал бы сын в места, от дома далекие, в поисках судьбы поважнее и пирога послаще, а если б и уехал, глядишь, помнил бы поминутно хроменького своего папашу, а если б и не помнил, то уж в отпуск бы приезжал всякий раз рыбалкой поразвлечься. Не ухватил чего-то в сыне Павел Иванович.

Да уж не прикипал Павел Иванович к своим детям, тут Евдокия Андреевна как раз права, попрекая его малым интересом к детям.

Упустил, видать, что-то Павел Иванович, из рук выронил. Хотя это как смотреть на дело такое: он никогда детей своих понапрасну не поучал, никогда им себя в пример не ставил, полагая так, что никому он никакой не пример, детям же собственным, если ты

им добра желаешь, — особенно. Пользы мало, считал он, давать детишкам все разжеванным на мелкие частицы, как и нельзя им всю жизнь жидкую манную кашку потягивать. Потому что от подобных разжевываний масло в каше-то и прибавляется, но вот в голове — никогда.

Так ли, нет ли детей воспитывал, а ничего себе вышло: сын, видать, птица довольно-таки важная — ученый, одно слово; дочь Вера — портниха хорошая, ее уже в городе знают, и от заказов нет у нее отбоя.

Ладно, даже если с детьми особой промашки не вышло, то смотрят они на своего папашу, надо отметить, как бы свысока, никто из них никогда не брал у папаши, отца своего то есть, совета какого-либо серьезного.

Нет, то есть, конечно, папаша необходим, он на месте, глава дома и все такое прочее, но от матушки своей они вот чего поднабрались: а ничего-то наш папаша не стоит, всерьез его принимать нельзя, на его слово или дело какое можно так это усмешечку подпустить и уж затем простить великодушно его чудачества. Вот как скручивалось все у Павла Ивановича. И то сказать: на дружбу с детьми он не набивался, к семье никогда не прикипал, писем от сына не требовал, так уж и выходит — что сеешь, то иной раз и жнешь.

Надеялся: придет срок, и поймут дети кое-что о папаше своем, так что, может, еще и устыдятся небрежности своей.

Ну, словом сказать, уж как ждал Павел Иванович пенсионного возраста, тут, он надеялся, из лодки его не выманишь. И дождался, дня лишнего не проработал. Упрашивали: лето сейчас, «зайцы» так и

шпыряют по поездам, но нет — сказал, и вышел на пенсию. Теперь, рассчитывал, в лодке — навсегда.

А не вышло. Другое дело стало заедать Павла Ивановича. И заедает до сих пор.

Начиналось все так просто, как в песне давней поется. «Завязка — все сказка». Варить бывает легко, хлебать, случается, трудно. Удача и гибель вместе иной раз бродят, в обнимку, лицами неясными сливаясь, переплетаясь ногами. Вот уж и чувствуешь, даже почти знаешь — быть беде, не ходи, кажется, не делай, в руки не бери, все, может, и обойдется, а нет, толкает что-то тебя в спину — судьба ли, воля твоя прошлая — и уж летишь, словно комашка на огонь, и вот-то ведь утешеньице что-то такое трепещет — а ведь как сладостно было перед гибелью.

Словом сказать, кто-то однажды на скамейке перед домом забыл детскую потрепанную книгу под названием «Когда?». И вот надо было случиться, что первым на нее наткнулся Павел Иванович. Хотя, может, кто-либо и до него книжку так это лениво листал, да она не сгодилась, как и Павел Иванович не взял бы ее, будь она вовсе чужая. Но закавыка-то какая вышла, беда так беда, — начал он эту книжку полистывать и сразу понял, что она для него и про него. И шутка-то какая, с удивлением узнал Павел Иванович, что часы, подумать даже смешно, прежде были другими, да что часы — дичь ли себе такую представить — календари были другие, и месяцы, и годы, и вот это особенно поразило Павла Ивановича.

Ну так-то себе представить: что за дело ему такое до халдейского года или там, предположим, гиксосов, но штука какая вышла — встревожило его, верно, что-то, если начал ходить в библиотеку на Кооперативной улице и стал брать книги про часы да кален-

дари, и вот-то уж заварушка какая началась: время, выяснил он, можно пересчитывать с одного календаря на другой и на третий, и вот Павел Иванович купил большие листы бумаги, и карандаши, и краски и, человек не так чтобы и очень грамотный, начал составлять графики, просиживал над древними календарями ночи, менял что-то в этих календарях, если его что-либо не устраивало в них, сердился на чужие ошибки и старательно исправлял их, пересчитывал свои дни на чужие исчисления, проживая свою жизнь не только по нынешнему счету, но и по счету чужих и древних стран, да что говорить: он знал названия всех старых месяцев, и хоть не понимал их, но чужестранные эти слова — нисану, положим, или улулу, хай или же, представим, вентоз — томили, будоражили его, приводили иной раз в такой восторг, что он закричал бы или, на худой конец, хоть вскрикнул, но, боясь разбудить жену, он лишь восторженно мычал, не в силах перенести томительную муку счастья.

Да как же это понять-то человека, хотя что так неоглядно хватать — понять, представить его и то смешно, и человек-то уже достаточно поживший, не так чтобы сильно ученый, живет в малом каком-либо городишке, точечке какой-то, что, предположим, 59 градусов северной широты и 30 градусов восточной долготы, может, это Фонарево, может, Палкино, Лихошерстеево или Мароморочка, жизнь-то изводит на туманное, темное для себя дело, азбуку для ученого человека собой являющее, а вишь ты, прислушаешься к этому человеку — дело это полно для него смысла и главного значения, ну как это, как это, дело-то ему какое, подумать, до времени, как и времени, представим, дело какое до него, но выходит — есть это дело,

да что ж это за дичь, что за беда, напасть какая-то, эх-ха, глухота, слепота, косноязычие мое!

Чтоб не мешать Евдокии Андреевне, не мозолить ей глаза и чтоб она не тратила силы на попреки, как-то в начале лета Павел Иванович переселился в сарай. Свободно разместился в нем, наладил старую кровать, на которой в детстве спала дочь Вера, и хорошо разместился на ней — слава богу, рост у Павла Ивановича небольшой и сам он не вышел телом, поставил стол, а больше ему и мало что нужно-то было.

На лодку времени не оставалось, и, чтоб она не пропала, Павел Иванович продал ее, и удачно продал, деньги же, однако, в растрат не пустил, так как твердо отчего-то верил, что они еще понадобятся, — проесть их можно скорехонько, а вот стоящее дело без них не стронется с места.

Дело было что-то такое в августе, лето вовсе к осени скашивалось, откружились над землей, отпорхали давно белые ночи, и небо загустело темнотой и вызвездилось колкими, блестящими, как новый рубль, звездами. Павел Иванович лежал на кровати, и было душно, как в предгрозье, и, чтоб видеть небо, Павел Иванович подпер колышком распахнутую дверь, но из глубины сарая небо охватывалось не целиком, но лишь глубоким клоком, не был виден, но угадывался последний малиновый закат, уже заглатываемый цепкой наползающей темнотой.

Закат уже обессилел от долгого жаркого лета и испарялся мгновенно, уж вовсе по-осеннему. Вот лежать бы Павлу Ивановичу, и так это спокойно и рассудительно думать, что вот и проходит жизнь и с этим следует смириться, не совсем и складной вышла она, не стал в ней Павел Иванович отличником, но

нигде не оставляли его и на второй год, словом, вперёд не рвался, но и в хвосте не плелся, а так это самое плотно со всеми посередке и прошёл, и пот полил, и кровушку полил, однако в тот предосенний звездный вечер тревожили не мысли об уходящей жизни, этого довольно-таки горького песка, нет, его вовсе другое тревожило.

Днем он узнал — и это была всем новостям новость, — что не всегда земля, луна и солнце будут вот так вот плавать, нет, и именно в ту минуту, когда он лежал и смотрел в проем двери на глубокое небо, он окончательно осознал то, о чем узнал из книги: земля когда-нибудь исчезнет, но и не это особенно встревожило Павла Ивановича, землю ему почему-то не было особенно жалко, его тревожило то, что когда-нибудь солнце погаснет, и от понимания, что мир когда-либо будет бессолнечным, его охватила такая тоска, какая охватывает иного человека при мысли о смерти собственной, словно солнце должно погаснуть не завтра даже, но вот в следующее мгновение, вот прямо сейчас.

И Павел Иванович, бессильный справиться с тоской, лишь скрипел зубами и горько постанывал, и уж знал — утишить эту тоску он не сумеет никогда. Да и не пытался утишить, но лишь лег на левый бок и свернулся калачиком, чтоб и без того тщедушное его тело занимало как можно меньше места в пространстве, и вот-то глядел он на звезды и долго так глядел, что уже далеко за полночь среди самой густой тьмы слышал слабый гул какой-то, и понять не смел, что это: музыка ли какая, гитара ли одной струной звенит, стон ли это обиженного, сверканье ли звезд, смешанное с шелестом просыпающегося сквозь пальцы песка, но понемногу смиралась его тоска и уж

надежда всплывала, что Павел Иванович как-либо дело это поправит, сумеет и он чем-либо помочь людям.

И перед утром, когда вдали появилось слабое пугливое свечение рассвета, Павел Иванович задремал, но и сквозь дрему слышал он тот слабый гул, и сквозь дрему понимал он тоску последнего человека перед тем, как солнце погаснет навсегда, и успевал утешиться — нет, нет, он еще не этот последний человек, никак не этот последний.

Вот тогда-то, очнувшись, увидел он утром эту машину, нет, не машину, конечно же, увидел эту вещьцу, как ее там; он увидел ее всю целиком, и как же она была хороша и умна, это прямо дух обрывался, и уж ничего бы не пожалел Павел Иванович, только бы сделать ее, и он видел все ее части до последней загогулилки, и колесики, и шайбочки, он до конца понимал, что, как и с чем будет соединяться, для чего будет машина целиком и всякая часть в отдельности. Он твердо знал, что никто не помешает ему вещьцу эту сделать всем на удивление.

Однако же постоянный страх сидел в нем: а сумеет ли сделать, смогут ли руки выполнить то, что хочется Павлу Ивановичу?

Не сказал Евдокии Андреевне, что продал лодку, покупал нужные инструменты и материалы. Успокаивал себя: сноровка некоторая у него имеется, ведь в прежние зимние вечера из корешков, веток, досочек выпиливал он всякую безделицу — сноровка, уверен был, кое-какая в руках есть, и Павел Иванович надеялся, что руки все-таки сумеют справиться с тем, что однажды увидел он предрассветной стынью.

Все отодвигал день, когда запустит свое дело, боялся себя, мучался в страхе — где ж это смелости

набраться, чтоб разогнать резец, или нанести первые риски, или пустить фуганком первую стружку.

Однажды понял — пора, дальше тянуть нельзя. Дальше — осень, холодные дожди, а там и зима, а там, глядишь, и год пропал. А он, Павел Иванович, не так-то и богат временем, чтоб свободно выбросить годик.

День первый — не последний день. Подташнивает от страха — а ведь ни за что не сумеет сделать то, что осторожно прикидывал вечерами, это уж так он, просто поголовотяпствовал, игру себе такую придумал, и вот сейчас он убедился, что это страшные шуточки — игры со временем, сейчас убедится — провал, провал, позор кромешный.

И вот тогда — в день первый — Павел Иванович подошел к своему самодельному шкафу с инструментами, посмотрел, все ли на месте. Отворил дверцы — а ведь все на месте, и отступать дальше нет никакой возможности. Осмотрел левую дверцу: коловорот, угольник, уровень, малка, а на правой дверце — ножовки, прикреплен метр, висел рейсмус, а в самом-то шкафу главное: фуганок, рубанки, молотки, и внизу стояком каждая вещь в своем гнезде: стамески, и долота, и буравы, и сверла — все на положенных местах.

Нет другого способа справиться со своим страхом, понимал Павел Иванович, как запустить дело, и запустил, и медленно душа освобождалась от страха, а все в порядке, голова варит, глаз все схватывает, рука послушна глазу, все — вот это дело, и это стоящее дело. Это уж, как говорится, будь спок за наш пупок, маху не дадим, себя не оконфузим. И успокаивалось все: пока в руках точность, волноваться не

стоит, он со всем справится, Павел Иванович, он никак то есть не умудрится попасть пальцем в небо.

Сентябрь золотился, в цветнике перед окнами полыхали огненные шары, желтый лист полетел над землей, утро легкое, прозрачное, дали неоглядные, жарой не скраденные,— да есть ли лучшее время для первого дня.

Осень стояла теплая, уж листья облетали, но дожди так и не закосили, и земля была видна вся целиком, словно б уместилась на ладони.

И Павел Иванович был счастлив работать, когда мир насквозь виден и внятен ему, и еще бы: когда Павел Иванович работает, то мир ровен, спокоен и счастлив.

Когда же Павел Иванович отдыхал, то время расплывалось, Павел Иванович страдал, нетерпеливо ожидая нового внятного утра.

Всякое утро Павел Иванович спускался в сарай, в мастерскую свою, так-то говоря, и садился, грудью упершись в верстак, голову свесив, так продлевая ночную дремоту, и в шесть ли часов начинал утренний плач пробудившийся младенец в соседнем доме, и словно бы послушная его зову откликалась протяжным гудком первая электричка, и тогда Павел Иванович размещал свое тело так, чтоб вопль младенца и вопль электрички, плывущие друг другу навстречу, соединились бы как раз в груди Павла Ивановича, и там что-то слегка даже заломило бы, заныло — вот это и есть сигнал: прочь, дремота, пора к делу поближе. А день последний — не первый день. Наступил он недавно — неделю назад. Павел Иванович, уж вроде бы целиком слившись со своей вещицей, не делал ночного перерыва, подозревая, что сил у него хватит, их ровно столько, чтоб добить вещицу, точка в точку.

Он не знал, прохладна ли ночь или же тепля, он ничего не замечал, лишь раз замедлился, подошел к распахнутой двери сарая. «Эй, Васильевна, а вставай!» — услышал и заметил, что ночь растаяла и приходит светлое утро, еще ни звука, все вокруг ровно, как во сне перед самым пробуждением; из легкого, чуть подпаленного желтизной тумана размытыми пятнами начали проступать дома — пятиэтажный, и дом Павла Ивановича, и михалевский дом, и тут Павел Иванович окончательно понял, что утро пришло, оно все-таки победило.

Нет никого, все спит, и он один, и он не спит. Лучшие это часы, чтоб хоть что-то успеть, вот в эти часы спать как раз и не следует.

Вновь принявшись за дело, Павел Иванович знал, что уже ничто не отвлечет его, пока он не добьет до конца. И верно, ничто больше не отвлекало Павла Ивановича: ни свист электрички, ни первые звуки во дворе — торопливые шаги, ранний посвист под окном: эгей, пора, браток! — ни пятна солнца, проникающего сквозь щели в сарае, и лишь когда солнцем залило светло-коричневую плоскость — уже вовсе готовую — и плоскость ослепила Павла Ивановича, он легко и коротко засмеялся и кивнул удовлетворенно: ого! так и надо — как надеялся, так и вышло. Не подвел себя, не подвел всех Казанцевых, да что там — никого из людей не подвел, и это значит, что из-за такой штуковины очень даже стоило свой пупок надрывать.

Понимал — больше он ничего сделать не сможет.

Вот ведь как жалко, что добил, теперь с ней расставаться придется, как ни крути.

Вспомнил, что собирался наладить рубанок, достал его, разобрал, заточил железку на бруске и, хоть знал, что резец твердый и устойчивый, все же

Для верности подышал, и тусклое пятно дыхания сразу исчезло — хороший резец, — и собрал рубанок так, что лезвие на колодке было тонким, как нитка.

А потом, махнув на все рукой, сел неподвижно у верстака и знал, что будет так сидеть, пока полностью не смиритсЯ с тем, что довел дело до конца.

Солнце уже раскалилось и медленно ползло к зениту, воздух был густ и душен, ковш неба стал мелким, и ясно стало, что к вечеру непременно будет гроза.

И вот издалека что-то такое проклюнулось в Павле Ивановиче: с удивлением подумал он, что, пока сидел здесь, в сарае, этой ночью и утром, люди жили своей привычной жизнью, кто-то болел и плакал, и за ним кто-то ухаживал и не спал, кто-то покупал еду и стирал белье, жизнь шла себе по привычной, довольно-таки ровной дороге, а вот Павел Иванович ничего об этом не знал, все шло без него и плыло мимо него.

Больше того, пока он делал одну свою вещицу, прошло несколько лет, а Павел Иванович их не заметил; мальчик, который начал вякать, когда Павел Иванович впервые разогнал свою вещицу, ходит в среднюю группу детского сада, проходили осени и весны, были ливни и снегопады, цвели сады, полыхала и пропадала сирень, день, уставая, выбиваясь из сил, отставал от своих более резвых товарищей, менялись правительства, тираны и герои, со свистом падали хвостатые кометы, летали космические корабли, гасли и зажигались звезды и целые созвездия, и это все, надо горько признать, без него, без Павла Ивановича. Вот, например, он вовсе не заметил нынешней весны. Так, просквозила мимо него, словно бы еще

сотню раз мимо просквозит. Только сейчас понял Павел Иванович, что наливается жаркое лето.

Хоть то его утешает, что всякое утро нетерпеливо он брался за дело и радовался, когда выходило лучше, чем придумал, а такую радость, прямо скажем, ни с какой иной радостью сравнить невозможно — шайбочка к шайбочке, колесико к колесiku — и так-то, если прикинуть осторожно, ведь он жил эти годы, весело даже жил, потому что нет ничего веселее, когда дело получается, так худо ли, если он жил, как хотел, да, пожалуй, чтоб уж долго не рассусоливать, в этом вся штука и есть — жить, как хочется.

И поймав свое равновесие, Павел Иванович пошел домой. Сил, однако, оставалось на самом доньшке, и, потихоньку шкандыбая домой, Павел Иванович так понимал — а все же это несправедливо. Ну вот горбит человек спину пять лет, лопатит себе да лопатит, а до него никому никакого дела нет. Хоть бы черт какой поинтересовался — а что это ты там мастрячишь, Павел Иванович, — так ведь же входи сюда, друг дорогой, ведь же все тебе открою, раз ты такой любопытный оказался, ведь не для себя одного шуковину эту варганю, — а нет, никому не было интереса, хоть малого, хоть капельного, до дела Павла Ивановича.

Одному, конечно, тоже сладко, но не так чтобы вовсе сплошной сахар. Горчит малость что-то такое одиночество. Набиваться кому-либо из людей понимающих он тоже не хотел, потому что, вскользь это надо заметить, достоинство кое-какое в себе подозревал и держал его крепко.

Сейчас, услышав голос сына, Павел Иванович спешно натягивал на свою вещичку чехол, который

шил из мешковины и старых тряпок, и думал: ну вот, минуты не дадут человеку побыть одному и что-либо порассуждать на покое.

Подскочил к двери, отбросил крючок: увидев сына Вовчика, вовсе на время забыл о своей вещице, прижался молча к груди сына да так и замер на короткое время — сын старший, одно слово.

Павел Иванович лицом был едва вровень с грудью сына и вот-вот радостно удивился — вот, говорят, детство голодное, а как вымахал, так что даже начал сутулиться — спина уже не может весь рост целиком держать.

— Ну что — как прибыл? — уже почти строго спросил Павел Иванович, вспомнив, верно, что отцу неловко все ж расклеиваться при встрече с сыном. Хоть бы и после пятилетней разлуки.

— А все нормально.

— Что один?

— Так на три дня.

— Ну да,— согласился Павел Иванович, мельком так это подумав, что на три дня-то и хорошо привезти невестку с внуком. Хотя скучно им было бы, и сразу успокоился этим.

И все настороженно вглядывался в потемневшее усталое лицо сына, стараясь угадать, был ли он у матери, и если был, то успела она пожаловаться на него или же решила воздержаться до вечера.

— Мать-то видел? — не выдержал все-таки.

— Видел.

— Жаловалась, а? Вот скажи, Вовчик, жаловалась, а?

— Нет. Сказала, что скоро придет и покормит нас.

— Да, лето жаркое,— чтобы спрятать настыр-

ность, сказал Павел Иванович.— Вот здесь и спасаюсь,— и Павел Иванович взмахнул руками, как бы пытаясь охватить весь сарай.— Тут все ж попрохладней выходит. Какое лето! Второе кряду. Читал ли, какие у нас в то лето пожары были? Месяц гарью тянуло. Так и не жаловалась?

— Нет,— покачал головой сын.

Врет поди, уж не могла она не пожаловаться, не такой это человек, Евдокия Андреевна, хороший человек, спору нет, все для семьи да для семьи, но чтоб не пожаловаться, такой затычки для нее нет. Совсем, что ли, голову от радости потеряла?

— И про часы не говорила? — вконец удивился Павел Иванович.

— Про часы говорила.

— Ну то-то. А я испугался было, не случилось ли чего с твоей матерью. Совсем не узнал. Так, и что она говорила?

— А что они деревянные.

— Ну?

— А они и верно деревянные?

— Ну!

— Вовсе без металлических частей?

— Ну...

— И как же они работают?

— А так и работают. Мы вот тоже без металлических частей, и ничего, и работаем. Да денежку еще требуем, чтоб кашку кушать. Уговорил? — Павел Иванович начал уже сердиться на Евдокию Андреевну, что она, как водится, лишнее вякает, вот же не трогают человека, а все вякает.

— И когда же ты кончишь?

— А хоть бы и кончил,— ответил Павел Иванович.— Кто папаше твоему указка?

— Так покажи,— попросил сын.

Хитер больно, так ему все и покажи. А ну как не поймет, ведь же смеяться станет. Ну, может, смеяться не осмелится, а вот усмешечку эдак проглотит.

— Сегодня, понимаешь ты, Вовчик,— ласково сказал Павел Иванович,— сегодня, дело какое, сегодня никак нельзя. Завтра — вот это точно. Завтра я тебе обещаю.

— А почему завтра? — удивился сын.— За день-то, я так понимаю, ничего не сделаешь.

— А потому что завтра свадьба,— тихо сказал Павел Иванович и для верности приложил указательный палец к губам.— Но ты уж никому. Договорились? — И Павел Иванович выглянул из сарая, чтоб наверняка убедиться, что никакой случайный прохожий не услышит его и, следовательно, не разгласит его тайну.— Кости Михалева дочь замуж выходит.

— И что же ты — разрешишь ей посмотреть часы? Это как подарок?

— Зачем же так — посмотреть? Я ей подарю вещь эту.

— Как подаришь?

— А как все дарят. Насовсем.

— Да ведь пять лет делал.

— Ты совсем как мать: «пять лет делал», — рассердился Павел Иванович.— А как дарить: «На тебе, убоже, что нам негоже»? Девка уж больно хорошая. Да сам увидишь. Да и Костя друг настоящий. А вон, глянь, и мать торопится. Ведь на полчаса раньше часовню свою закрыла. Ведь же людишко пойдет — а где она? Но ты, Вовчик, ни-ни,— снова попросил Павел Иванович.— Я уж тебя так — ну и ты того. Матери же — особенно.

Новости. Утренние газеты. Вернее сказать, просто газеты, потому что вечерние газеты приходят на следующее утро.

Новые снимки планеты Меркурий свидетельствуют о том, что около 3,5 миллиардов лет тому назад она столкнулась с огромным небесным телом, образовавшим впадину диаметром примерно в 1250 км...

Пресс-конференция для советских и иностранных журналистов... Космонавт Леонов: «Все идет по строго намеченной программе»... Космонавт Томас Стаффорд: «Предстоящий полет будет успешным и полезным»...

Ураган «Фифи» обрушился на Гондурас... Под водой более половины территории страны... Полностью уничтожены посевы сельскохозяйственных культур... Подобной катастрофы страна не знала на протяжении более 150 лет...

Чрезвычайное положение в Бангладеш... Военное положение в Никарагуа... Кровавые будни Чили... Правительство ведет себя как оккупационная армия...

Экипаж советского судна «Маршал Рокоссовский» спас в Тихом океане американский корабль «Термини»... Ураганный ветер и восьмибалльный шторм... Эн америкен шип аскс фор хелп... Капитан, американцы просят помощи...

Президент Французской Республики изложил правительственный план борьбы с инфляцией... Увеличены налоги от 5 до 15 процентов... Будет представлена налоговая реформа...

Президент США прибыл из Каира в Джидду... Строители области досрочно выполнили полугодо-

вую программу строительно-монтажных работ, увеличив их объем на 4 процента...

Уникальные часы сделал житель города Тольятти С. И. Косарев. Они показывают время, число, день недели, месяц и год...

Опережая время... Более 14 тысяч поросят вырастили свинарки совхоза «Свет Балтики» за прошедшее с начала года время...

Началась реставрация фонаревского Нижнего парка... К концу работ он будет иметь тот же вид, что и в начале восемнадцатого столетия...

Пропала корова, черно-пестрая, с большими рогами, на лбу звездочка, 8 лет... прошу сообщить...

Константин Андреевич Михалев отработал четверть века на заводе по ремонту двигателей для сельскохозяйственных машин — сперва токарем, а последние семь лет мастером. Он хорошо знал и потому любил свое дело, понимал рабочих и умел с ними ладить, всегда чувствовал, что рабочие его уважают — он знает дело, немногословен, но справедлив.

В полдень Константин Андреевич сходил к начальнику цеха напомнить, что уйдет сегодня пораньше, и, возвращаясь к себе, услышал шум у гальваников, и хоть термический участок — не его участок, но цех-то один, и он зашел к гальваникам.

Они, оставив работу, окружили Васильева, молодого инженера по технике безопасности. Шла перепалка:

— Да где порядок? Отпуск должен быть как отпуск.

— Вы же «Сельхозтехника», — испуганно оправдывался Васильев — первый год работает.

— А на зареченском положено? Я вот раньше там работал.

— Они не «Сельхозтехника», им положено.

— Но я-то человек тот же.

— Да вот и Константина Андреевича спросите,— как к последней подмоге обратился инженер по технике безопасности.

Однако это был участок мастера Решко, а с ним отношения у Константина Андреевича были квашеными, и он увернулся:

— Нет, ребята, я же не гальваник. Пусть уж Решко добывается.

Сам же пошел к своим. Опытным взглядом окинув свой участок, сразу подошел к Веремьеву. Веремьев, низкорослый, тощий, носастый, шлифовал толкатели. Краем глаза Константин Андреевич заметил, что ребята с термического медленно приближаются сюда — рассчитывают на Веремьева, главного нытика.

— Коля, будь здоров. С понедельника у тебя отпуск, так нарыбачь и за меня,— сказал Константин Андреевич.

А ведь не ошибся — Веремьев уже накалился от гальваников.

— Да что, Костя, где порядок в самом деле? Пятнадцать дней отпуск. Молока не дают. И на пенсию не с пятидесяти пяти. А у тех-то. . .

— Ты постой. У тех-то сухая шлифовка. Словно б ты первый день работаешь.

— Но пыль-то и у меня летит.

— Пыль-то, конечно, летит.

— Зовут на зареченский, после отпуска и уйду.

— Никуда ты не уйдешь, четверть века вместе отработали. Так-то если разобраться, Коля, месяц и всем нехудо отгулять, это понятно. Но это не от меня

зависит, да так и без штанов можно остаться. Гальваники — дело другое, это у них кто-то недодумал, а тебе, Коля, все по закону. И ты закон знаешь не хуже меня: больше пятидесяти процентов сухой шлифовки — вот тебе месяц, вот тебе молоко, вот тебе пенсия с пятидесяти пяти. А у тебя меньше пятидесяти процентов. А получаешь ты неплохо.

— Да, ничего.

— Вот видишь. Словом, так. Получишь три дня к отпуску. Вроде за субботы. Все понял?

— Понял, Костя.

— А то разговаривать разговаривают, а дело стоит.

Покончили вовремя: к ним подошли гальваники.

— Скажи, Коля, скажи так и этак.

— Да я что, я добиваю, а сам уж рыбку ловлю.

— Тоже дело.

— Вы вот что, братцы, — начал уже сердиться Константин Андреевич: лучше бы не цепляли его ребят — конец недели, и время жаркое, их двигатели всюду вот как ждут, — хватит базарить. Собраний не хватает? Когда нужно слово сказать, вы молчите, а тут навалились на парня. Он же у нас два месяца работает. Так работать, как вы, — только масло языком взбивать, детям есть нечего будет.

— Ему хорошо, он у них свой, он — мастер.

— Не слышать бы мне тебя, Дударев. За тем вон станком двадцать лет отстоял.

— Он — что, он — человек, Костя.

— Ты шумишь, Дударев. А сколько ты классов кончил? Ну, уж так и шесть. Это если вместе с братом да коридоры считать. А зарабатываешь двести, так? Да еще нос воротишь. А Люба твоя техникум

закончила, на «Октябрьской» за станками смотрит, а получает?

— Ну, сотню.

— Закончит вечерний институт, сто двадцать будет, так? А ты говоришь то да се, да непорядок. Вот что я сделал бы, будь на вашем участке: написал бы коллективное письмо и свез его в областной профсоюз. Тоже законы знают. Уж если положено, то отдай.

— Срезал!

— Отрубил!

— Приедет человек или комиссия. И все! Наши двигатели ждут к этой уборочной, а не к следующей. Картошку или хлеб есть сейчас надо, а не через год.

И что же — крыть-то нечем, так что и пошли к себе, к делу поближе.

Константину Андреевичу нужно было уйти в два, оставалось полчаса, он поприглядывал за девочками-ученицами на токарно-револьверных станках, работали они правильно, хоть и несноровисто, но сноровка — дело наживное, и Константин Андреевич в их дело вмешиваться не стал.

Перед уходом он подошел к Паше Ходунову, бывшему своему ученику, длиннорукому, тощему, сутулому. Паша — лучший токарь цеха. Был Паша небрит, глаза ввалились — не высыпается, дочери полгода. Паша делал втулки. Месяц назад он настроился сдавать на пятый разряд, так оказалось, что токарных операций для пятого разряда в цехе почти нет.

— Вот, Константин Андреевич, — сказал Паша, — втулки — дело нехитрое. Что-нибудь бы потоньше. Так бы это прикинуть, пофантазировать. Станок же — лучший в стране, на нем любую резьбу сделать можно.

Константин Андреевич понимал, конечно, что фан-

тазля — дело хорошее, даже главное для человека, который свою работу уважает, однако в город за фантазией ездить далековато, на зареченском-то заводе для токаря дело тоже нехитрое, заработки же здесь повыше — до двухсот двадцати и даже двухсот пятидесяти, — а больше стоящих заводов в Фонареве нет.

— Ничего, Паша, — успокоил он, — вот к сентябрю — октябрю дел поуменьшится, начнем брать индивидуальные заказы, и тогда все стоящее — твое. Это я тебе обещаю, — и Константин Андреевич вспомнил, что ему пора.

Он помылся, переоделся и вышел на улицу.

За пятьдесят четыре года жизнь успела изрядно помять, потоптать и припылить Константина Андреевича. Лицо его основательно изрыто морщинами, чуть рыхловато и дрябловато, многие потери жизни потянули книзу углы его рта, и потому даже среди веселья все казалось, что Константин Андреевич печален, и люди веселящиеся считали, что ему нет среди них места; волосы не только пропылились и стали сивыми от времени, но и были редки, и на темени видна была уже изрядная плешь. Однако тело его было еще крепко, и в нем чувствовалась нерыхлая, еще сухая сила.

День стоял жаркий, но жара не донимала Константина Андреевича, так как на нем была голубая рубашка с коротким рукавом, легкие серые штаны и тряпичные туфли на босу ногу.

Выйдя на улицу, Константин Андреевич не стал торопиться к автобусу, но пошел медленно — ждал, пока от него отлетит шум цеха, суэта разговоров, разгоряченное дыхание спешки.

Да, рабочий день кончился, более того — кончи-

лась неделя, и надо привыкать к домашнему своему поведению. Так как Константин Андреевич любил свою работу, он частенько с нетерпением ждал конца воскресенья, в отпуске тоже бывало некуда ему себя приткнуть, и он маялся, скучая по своему заводу и цеху. На своем участке Константин Андреевич быстр, оживлен, сноровист, ходит уверенно, хозяином вскинув голову, чуть не бегают, время пролетает незаметно, дома же — дело другое: молчалив, задумчив, печален, ходит осторожно, как-то бочком, чуть не шаркая по-стариковски, как человек неприкаянный.

Эта неприкаянность появилась у него пятнадцать лет назад. Тогда, со смертью жены Маши, он понял, что без нее он сирота и что жизнь его, в сущности, прошла. И чтоб как-то с сиротством справиться, начал он попивать, да так это втихую, и, как водится, заскользил, заскользил.

И вот как устроен человек: чем безнадежнее сиротство, чем меньше веры в утешение, тем ведь ниже скользит в поисках этого утешения. Уж какие знакомые появились, прежде их за людей не считал, глазами сквозь них протекал, как сквозь место пустое, но ведь как слушать умеют, если на угощение намекаешь, но ведь как глубоко жизнь копают, чтоб плакать по ней, если в угощении не обманешь.

Спас его тогда старший брат Петр. Он приехал в отпуск и увидел упадок младшего брата. Гляди, Костя, уговаривал Петр, дело ведь плохо кончится, нет больше Маши, кто ж с этим смирится, но ведь дочка есть, ты теперь не о себе должен думать, а о ней. Как ей жить при пьющем отце? Или вот что: если ты справишься с собой не можешь или не хочешь, так отдай мне Таню хоть на короткое время — у меня двое детей, ну, так будет трое.

Это и заело Константина Андреевича, и после отъезда брата он сразу порушил новые знакомства, набрался сил и поступил в индустриальный техникум — и за семь лет закончил его.

Но неприкаянность осталась. Приходя домой, он с печалью думал, что и Маша могла быть в этих комнатах, да нет ее. Хотя в доме ли дело: дом может быть новым, утрата — старой. Куда от нее денешься?

Он ехал в пустом автобусе и уже привычно думал, что вот сегодня последний день перед свадьбой, он — отец и должен сделать хорошую свадьбу, он, конечно, все устроит, но радости не было.

Константин Андреевич сошел на конечной остановке автобуса и по Кооперативной улице побрел домой.

Проходя мимо рынка, он услышал громкие крики и остановился.

Такого оживления Константин Андреевич давно уже не видел. У самого рынка на берегу узкой Краснухи видна была толпа, и сюда, к толпе, со всех сторон бежали новые и новые люди. Константин Андреевич пошел на крики.

С рынка, из магазинов к бетонному берегу бежали люди, на мгновение сливались они с толпой, потом выскакивали вон и, жадно шаря по земле глазами, хватали то, что попадалось: камни, кирпичи, ящики из-под бутылок, доски, старую арматуру — и вновь въедались в толпу, чтоб ударить того, кто был в центре. Константин Андреевич понял, что здесь убивают, и побежал.

И уже чувствовал обжигающее дыхание толпы и слышал крики:

— Зверюга! Зверь!

— Куда кидаете? По нему надо, по нему.

— Комик жизни!

— Крыса — она и есть крыса. Зверюга какая!

— Так бей, бей сильнее! Ишь куда забралась!

— Наддай! Наддай! Наддай!

А лица-то злостью исхлестаны, улюлюкают люди, свистят, хакают.

— Что? — дернул за руку какую-то смеющуюся тетку Константин Андреевич.

— Крыса! — ответила та.

— И что? — но сам уже все понял, и злоба ослепила его.

— Так водяная крыса забралась, — вразумила его тетка.

Он дернулся в толпу и за рукав кого-то схватил, и за плечо — рвался в центр.

А в центре кто-то долговязый орудовал, ему крикнули:

— Дерябин!

— Ну?

— Гну! Попроворней изворачивайся!

А он и так проворно изворачивался, молоденький, краснорожий, и в руках держал длинную палку, и палкой этой, как шестом, прижал замордованного зверька к бетонной стенке и побрякивал восторженно:

— И так тебя! И так! Ишь какой! Не любишь ты этого.

А по спине кулачками колотила парня уже задохнувшаяся в бессильной злобе Евдокия Андреевна Казанцева.

Константин Андреевич еще рванулся и вцепился парню прямо в горло. И даже чуть сдавил. Тот захрипел и выронил палку.

— Что делаешь? — шипел Константин Андреевич, и ненавидящими глазами он оглядел толпу.

— Так ведь крыса. Вредитель.

— Я тебя так сдавлю, что кишки полезут. На такого зверька! Глаза повылазили, что ли? Это же бобр.

— Как бобр? — ахнула толпа.

— Так — бобр! Он же в два раза больше крысы. И шкурку поглядите. Глаза у вас повылазили, что ли!

А зверек был мертв — добили все же его.

— А хоть бы и крыса. Она вам мешала? На одного на слабого набросились! Евдокия Андреевна, позовите милицию. Тут на остановке Василька видел.

— Так откуда бобр? — спросил кто-то.

— Да от верблюда. Вверху на Краснухе их расселили, добрались через пруды. Лето жаркое, вода сошла. Да вот на вас наткнулся, бедолага.

Константин Андреевич медленно отходил. Но парня держал крепко. А тот и не пытался вырваться.

А толпа, что же, начала распадаться, вспомнили люди, что оставили лотки, что не успели купить картошки, так что, когда Евдокия Андреевна привела Василька, никого уже не было.

Не было и парня — Константин Андреевич пожалел его родителей и отпустил, сообразив так, что у парня денег нет и придется раскошелиться его родителям.

— Эх ты! — махнул рукой Василек. — Пожалел. Он бы тебя не пожалел. Да если б в темном месте. Да если б ты один, а их пятеро.

— Да он убежал, — оправдывался Константин Андреевич, чувствуя себя виноватым.

— Ну, я пошла, — сказала Евдокия Андреевна.

Волосы се взмокли от бега, лицо побледнело.

— Провожу вас, Евдокия Андреевна.

— Проводи, Костя.

— Так вы не забудьте, пожалуйста.

— Да как забудешь. Только вот что, Костя,— сын приехал погостить.

— Вовчик-то? И тем лучше. Вы его и уговорите, Евдокия Андреевна.

Дома никого не было, и, вытянувшись на кровати, Константин Андреевич соображал, что это, может, последний привычный день, а дальше все изменится, другая жизнь, другое жилье, худо ли будет, хорошо, но другое.

Вдруг послышался стук в дверь, и по стуку, осторожному, тихому, Константин Андреевич понял, что пришла Анна Васильевна, главный устроитель всего предстоящего дела.

4

Лилась жара, белая и гулкая, день стоял раскаленный, спелый, деревья налились жарким соком, и тополя уже взорвались пухом. Асфальт плавился, воздух звенел, движения людей были ленивыми, сонными.

Казанцеву нужно было идти к своей учительнице Раисе Григорьевне.

Раиса Григорьевна жила в Слободе, это три остановки на автобусе, но Казанцев решил, что он дойдет пешком, через парк. Так он решил не только потому, что любил парк, но, чувствуя в себе легкое томление, он боялся, что у него начинается приступ болезни.

Приступ всегда и начинался вот с этого томления души, словно б вся отравы жизни, вся полынь, все горечи собираются воедино и сжимают, выкручивают

душу, и силы понемногу оставляли Казанцева вслед за этим томлением, и он терял сознание. Так бывало нечасто, но так бывало, и Казанцев надеялся, что парк успокоит его и все в этот раз обойдется.

Он стоял у каштана и, подняв голову, как всегда удивленно смотрел на прямые желтые свечи северного его цветения.

На противоположной стороне улицы, у почты, Казанцев увидел молодую женщину. Высокая, стройная, с высоко поднятой головой, шла она так легко, словно б могла и лететь, если б не этот зной. Светлые ее волосы были схвачены в пучок лентой, женщина улыбалась своим мыслям, и Казанцев уверен был, что кого-кого, а ее-то непременно ждет близкое счастье. Она вошла на почту, хлопнула за ней дверь, и всего-то несколько мгновений видел Казанцев легкий ее полет, но и этого краткого времени достаточно было, чтобы томление егоросло и он вновь почувствовал, что немолод, болен, одинок.

Томление шло сейчас от знания того, что, будь он молод, красив, имей замечательные способности, и все равно не сумел бы обратить на себя внимание этой женщины. Начинался приступ, и потому Казанцев надолго был обижен красотой и невниманием этой женщины и завидовал ее настоящему или будущему избраннику. Он смирился только тем соображением, что избранник этот будет непременно существом ничтожнейшим,— была в Казанцеве такая уверенность.

Парк был пуст. Зелень тускло блестела от тугого сока. Недавняя буря повалила старые деревья, и они лежали, пронзая жару черными тягучими корнями.

По пруду лениво скользили две лодки. Старик лодочник нехотя переругивался с парнями в лодках —

время их вышло, но не было сил преодолеть жару и прибиться к берегу, старику было все равно, сколько они катаются, но из кассы за ним зорко следила молодая женщина, и вот перед ней-то старик держал порядок.

Казанцев обогнул пруд, прошел мимо качелей и колеса смеха и вскоре вышел к другому пруду, здесь он рассчитывал немного посидеть и, переждав приступ, идти к своей учительнице.

Пруд обмелел, зацвели лилии, по густой траве Казанцев вошел в заросли леса — вот и его привычное место, всякий раз бывает здесь, когда приезжает к родителям, вот и знакомый пенек, Казанцев сел на него и наклонил голову, чтобы лучше слышать лесную жизнь.

Всякий раз, приходя сюда, он чувствует, что вот прошло пять, и десять, и пятнадцать лет, как он уехал отсюда, а лес все тот же, следовательно, и он, Казанцев, тот же. Десять лет назад он испытал это чувство, и пять лет назад оно еще было, но сейчас вызвать его вновь Казанцев не мог — лес, пожалуй, прежний, но сам он, вот беда, совсем другой. Хотелось бы ему впасть в благодать при встрече со знакомым местом леса, но благодати не было, а было, скорее всего, привычное равнодушие. В том-то и дело, что он понимает, что ему следует радоваться — густая зелень, суется муравьи, за спиной долбит свое дятел и в нем-то достаточно воли, чтоб всю жизнь добывать корм, кукует кукушка, — но радости не было.

Однако оставалась привычная с детства любовь к лесу, и Казанцев прислушался к начавшемуся предвечернему оживлению: над головой громко пел зяблик, вдруг он оборвал пение и несколько раз вскрик-

Ну! — не дождя ли ждет птица; серебряно, нежно и коротко пела пеночка, она заходила то в частом треске, то в печальном, грустном свисте — откуда бы, что ведает она, птица малая; трелью уговаривал кого-то дрозд, но, отчаявшись в уговорах, переходил на тихое неразборчивое бормотание; все куковала кукушка; трудился бессменно дятел; вдали, слева на лесной опушке, горько, трагично даже ворковала горлица — конец лета она предчувствует, разделяет ли тоску другого живого существа; тугая льющаяся зелень смиряла себя с жарким накалом дня, сквозь зелень пробивались серебряные осколки пруда, вскрикивала, словно постанывая в плаче, незнакомая птица, чибис, что ли, ах, неправильно, несправедливо, несправедливо это, вдруг прорвало Казанцева, и то была не жалость к себе, не страх, что он ничего может больше не услышать, но вот именно с несправедливостью не мог смириться Казанцев.

Как же так, ну как же так, да почему именно он и за что же, и если правда, что есть общее сердце и общая душа мира — а это правда, еще недавно он понимал именно так, и бесчувствие к этому общему сердцу лишь защита — так общее это сердце — пса, муравья, человека — делает мир единым и даже неделимым, но лишь до той поры, пока не исчезнет какое-либо самое слабое сердце, самое хлипкое существо — так вот несправедливость в том как раз и состояла, что слабейшим существом был не кто-то безымянный — муравей, пес, человек в соседнем городе, — но он сам, Казанцев, и с этим смириться он не сумел. Все будет по-прежнему и без него, и нужно примириться, но такой воли и смелости у Казанцева не было.

А уговаривал себя неделимостью мира, общим сердцем, общей душой даже, а сам-то что же — слаб, слаб человек, несправедливо, несправедливо и не по правилам, словно б здесь могут быть хоть какие-то правила,— нет, нет этих правил, а если б они были, человек беды и горя бы не знал. Смирись, смирись, терпи, и он бы тоже терпел, да вот вошел в лес заброшенный, и вот-то поплыла душа, и снова Казанцев почувствовал гул в затылке и томление во всем теле и окончательно понял, что приступа не избежать.

Уже появилось нетерпение души, руки и все тело стали влажными, пусть так, уговаривал себя, пусть вот так, в лесу, под пенье горлицы, не так это и плохо, любое другое слабейшее существо позавидует, и тогда он лег в траву, чтоб хоть как-то охладить разгоряченное тело, даже успел расстегнуть рубашку, чтоб трава густым соком захватывала как можно больше его жара,— несправедливо, однако ж, вот ведь как несправедливо.

А как удачно, казалось, жизнь складывается.

Будучи человеком выносливым и обязательным, имея явные инженерные способности, подхлестываемый рано проснувшимся честолюбием, состоявшим в том, что Казанцев всегда хотел быть известным в своем деле и, как следствие, жить безбедно, и к тридцати двум годам сделал примерную и даже завидную карьеру.

По окончании института Казанцев был направлен в один из периферийных филиалов центрального НИИ. Там он проработал четыре года, и этого срока было достаточно, чтоб его заметили и — случай ред-

кий⁸ — перевели с повышением в центральный институт.

Дело свое — судостроение — он любил и знал, быстро для своих лет стал ведущим инженером и начальником группы, за три года закончил аспирантуру и защитил диссертацию и в тридцать два года стал руководителем ведущего отдела — случай, встречающийся не так уж часто, случай неординарный. Другой инженер, да при жестокой конкуренции в институтах, всю жизнь стремится к такой должности, потому что это — положение, какая-то, хоть относительная, независимость, некоторая известность — институт центральный, — деньги, наконец, а ведь будет десять — пятнадцать лет ходить в старших инженерах и всякий раз жаловаться семье и друзьям, что вот ему хода не дают, что те-то и те-то средства продвижения ему нехороши и тут-то придется умалять себя, так что, когда получит должность ведущего инженера, будет рад несказанно, да поработает в этой позиции еще десяток лет, а там, глядишь, кто ж это тебя продвигать будет, ведь всем же новые силы подавай, новые соки, свежую кровь, тебе ж и до пенсии недалеко.

Работа была главным да, пожалуй, и единственным делом Казанцева. Известно, конечно, что далеко не все инженеры НИИ перегружены работой, но во всякой группе есть один или два человека, которые без отдыха и тянут главное дело группы, и Казанцев всегда был из таких людей. Так получилось, что когда он был старшим инженером, то у него был слаб ведущий, и приходилось тянуть не только за себя, но и за него, когда ж Казанцев стал ведущим инженером, то слаб оказался начальник группы, когда ж Казанцев стал начальником отдела, то весы качнулись в обратную сторону и теперь слаб стал не на-

чальник, а подчиненный — руководитель группы, — и снова тянуть, тянуть, шуметь, толкать.

Бесконечные командировки — долгая жизнь в гостиницах, вдали от семьи, — Казанцев не жаловался, он стремился к такой жизни, и она его устраивала. Хороша она или плоха, суетливая эта жизнь? Да кто ж его знает, хороша она или плоха. Верно, хорошо, раз многие к ней стремятся. Положение, немалые деньги — это все, как говорится, привлекает. Привлекало и Казанцева. Но главное вот что: свою работу он считал творческой, да так оно и было. Если где-то далеко от дома, на берегу, предположим, прекрасного озера, они после испытаний с радости пропускали коньячку и тихо приговаривали — а уложились, ведь вышло, не ошиблись, — то Казанцев понимал так, что уложились все, вышло у всех, а не ошибся он один, и чуть ли не всемогущим чувствовал себя в такие минуты, и тихую эту радость после окончания работ полагал за счастье, и отказаться от этой радости уже не мог. Потому что из всех людей он имел наибольшее право радоваться. Имея опыт и звание, он мог бы жить спокойнее, преподавая в институте, занимаясь, что называется, чистой наукой, однако без этой радости, что бывает при окончании дела, жить Казанцев уже не мог. Сильнейшая из отрав.

Но случилась непредвиденная остановка. Больны вы, знаете ли. И тут за долгие месяцы лечения в больнице и дома выяснилось, что на работе могут обходиться и без Казанцева и он никак не исключение в жестокой этой фразе, что незаменимых людей нет, дело двигалось и без него, и когда Казанцев выходил на работу, то дело поначалу притормаживалось, когда же Казанцев принаравливался к делу и уже мчался с ним, слившись в одно неразрывное тело,

вновь приходила пора обследоваться в клинике и снова дело чуть притормаживалось, чтоб через некоторое время, уже без Казанцева, мчать в неоглядные дали.

И вот когда пришла непрошенная пора посмотреть по сторонам, выяснилось, что Казанцев одинок. Самая прочная дружба — дружба, сложившаяся в детстве либо юности. Но с друзьями по институту его разделяли расстояние и время, он никогда не думал о них, и наивно было ожидать, что они вспомнят о нем теперь, если он их не вспоминал десять лет.

Друзья же по работе оказались только приятелями или, скажем точнее, сослуживцами, они навещали его, но у них были уже свои заботы, очень отличные от его забот, он-то рвался к ним, но они оберегали его как значительно отставшего товарища.

Одиночество разливает по телу желчь либо вызывает размышления. Чаще всего это размышления с горьким привкусом желчи. Так было и с Казанцевым. Времени у него было достаточно, и он много читал. Мозг его всегда был загружен, эта загруженность стала привычкой, и Казанцев читал книги не развлекательные, но серьезные. За полтора года болезни он прочитал более книг, чем за всю предшествующую жизнь. Он внезапно обнаружил, что ни школа, ни институт не образовали его и обо всем, что не касается его специальности, Казанцев имеет смутное представление либо не имеет никакого представления вовсе.

Видимо, самодовольным и, следовательно, глупым Казанцев не был. Иной человек, окажись на месте Казанцева, то есть выйди он по болезни из привычной колеи, все равно будет убеждать себя, что он молодец и это все пустяки, так и не поймет, что вы-

пал в осадок. У Казанцева, видимо, ум был, хоть, может, и непервостатейный, и мозг его, привыкший к работе, работы этой требовал, и Казанцев не ленился работу ему задавать. Это как раз и держало его душу в постоянном напряжении, вызывало на размышления и, возможно, спасало от полного одиночества.

В долгое путешествие хорошо пускаться, когда ты спокоен за тыл: у тебя есть друзья и семья, они в беде не оставят. Это очень много, если не все.

С друзьями все прояснилось очень скоро — их попросту не было.

С семьей, из которой вышел Казанцев, его давно уже ничто не связывало, и на поддержку рассчитывать не приходилось. Да и что значит поддержка, сочувствие, если людей разделяет пространство в тысячу километров? Мистика, слезы души, тягучая желчь.

Оставалась его семья — жена Надя и девятилетний сын Сережа. И здесь-то его ждало самое горькое разочарование.

Он так полагал: жена его могла вести жизнь в общем-то даже и безбедную, она не брала по двадцать четыре и двадцать восемь уроков в неделю, как другие молодые учителя, но брала положенные восемнадцать часов, ей не надо было спешить рано утром отвести ребенка в детский сад и нервничать, что его некому забрать, — она могла держать няню, и в двухкомнатную квартиру она купила немецкий гарнитур за полторы тысячи, и не зябла в пальто, а грелась в дорогой шубе, и носила модные добротные вещи. Не бог весть что, казалось бы, но в сравнении с другими учителями быт ее был примерным.

Однако выяснилось, что для безоглядной поддержки попавшего в беду человека одной благодарности

за сносный устойчивый быт маловато. Тут, верно, нужна еще любовь. А ее, должно быть, не стало. Впрочем, может, никогда и не было.

Как же уследить, когда исчезает любовь и появляется не привязанность даже, но привычка?

Эта постоянная его занятость, даже дома вечером все дело да дело, любовь же, как известно, не терпит суеты, ей нужны обстоятельства и подробности души другого человека. Случается, положим, и так, что и видятся люди всего несколько дней, а потом месяцами тоскуют по новой встрече. Все случается, но у Казанцева так не было.

Он не мог упрекнуть жену в невнимании либо в небрежности к нему, однако ж в заботах ее не было и сердечности. Это чувствовалось, терпелось, когда он был здоров, и стало оскорбительным, когда он заболел.

Что может быть обиднее равнодушия к болезни близкого человека? Вот она говорит с ним, а он знает, что мысли ее далеко от этой палаты, они в школе, или дома, или в магазине, но не здесь.

И главное: он ни в чем упрекнуть ее не мог. Потому что во всем, понимал Казанцев, виноват он сам. Выходя замуж, она была молода и неопытна, душа ее была как воск, она была готова ко всему, даже и к любви. Из-за вихря скачек, захлестнувшего его, ему некогда было разбудить ее душу. Так кто же в этом виноват? Верно, что за все надо платить. И за желание быть фаворитом тоже. Нет сомнения, что, не заболел он, все так бы и продолжалось, но с ослаблением тела душа его стала восприимчивее, и Казанцев стал замечать то, чего раньше он не замечал. Надя же вела себя так, словно ничего не случилось, да и точ-

но — она не заметила пробуждения души мужа, и это было невыносимо.

В сущности, они были чужими людьми, но если бы Казанцев сказал жене, что им следует расстаться, она бы очень удивилась. По ее мнению, у них обычная, даже хорошая семья. Да и есть ли смысл в разговорах: во-первых, неясен исход операции, и, во-вторых, расстаться им мешал сын. Сережу Казанцев любил.

Он мало занимался сыном, перепоручив его воспитание жене и няне, однако в долгих отсутствиях постоянно скучал по нему. Сейчас он согласен был терпеть ложь в семье, только бы никто не отнимал у него надежду, что вот уже через несколько лет сын станет ему лучшим другом.

Сережа рос тихим, замкнутым мальчиком, но Казанцев чувствовал, что сын тянется к нему, и это давало надежду, что жизнь Казанцева не полностью зашла в тупик.

Сейчас лежал он в высокой траве, и трава охлаждала жар его тела, сквозь дрему Казанцев увидел смутную сперва зелень листвы, подпаленную солнечным блеском, и вновь услышал пенье птиц, и тогда рывком сел, сжал ладонями лицо и для верности хлопал себя по щекам, встал и, чуть качнувшись, побрел к пруду, и там, выбрав клочок воды, свободный от зелени, встал на колени и лицом упал в воду, затем выпрямился, стряхивая капли, помотал головой, и уже ясность была в голове, и тогда Казанцев пошел под гору к Слободе.

Он прошел мимо оранжереи, свернул направо в узкий переулок и уткнулся в двухэтажный дом — здесь и жила Раиса Григорьевна. Когда-то она учила Казанцева английскому языку и с восьмого по деся-

Ты́й класс была́ еѣ классным руководи́телем. Ни у кого не было сомнений, что она любит всех своих учеников и живет только школой, родители ее учеников знали о ее любви к их детям и, в сущности, беспощадно эксплуатировали эту любовь. Она продолжала дружить со своими учениками и после того, как они закончат школу, ходила к ним в гости, и даже ездила в другие города, не предупреждая их о своем приезде, считая, что и они могут всегда прийти и приехать к ней.

Казанцев вошел в дом и увидел у стола Раису Григорьевну.

— Здравствуй, Володя,— сказала она.— Хорошо, что пришел. Как раз ты мне и нужен. Надо посоветоваться с понимающим человеком.

Она почти не изменилась — так же суха и чуть сутула, курит тот же «Беломор», говорит чуть скрипучим низким голосом.

— Надолго приехал?

— Три дня.

— Все в порядке?

— Почти. О чем вы хотели посоветоваться?

— Дело вот какое. Я хочу уйти из школы.

— Как это?

— Очень просто. Я устала. Это ведь понятно? И устала именно от классного руководства. Ты же знаешь, что я ненавижу урокодавателей. Нет души — уйди из школы. И ты знаешь, что родители и ученики никогда со мной не церемонились. Коля или Игорь сбежали из дома — первым делом родители идут ко мне. Мать уезжает в командировку — сына отдает мне, а не своей подруге. Ребенка забрали в детскую комнату, туда идет не отец, а я. Так было, так и есть. Эти заботы по мне. Ты в девятом классе бросил

учиться — причину вспоминать не будем, скажем — дурное влияние улицы, — я запирала тебя в этой вот комнате и не выпускала, пока ты не отчитаешься за все уроки. И ведь бунта никогда не было. А почему, Володя?

— Я считал, что вы имели право вмешиваться в мою жизнь.

— Именно имела право. А теперь чувствую — не имею. Потому что устала. Ты как-то прибежал в десять вечера и сказал, что Витя Вакулин может попасть в беду. Я не стала говорить — мол, подождем до утра. По грязи мы пошли во Второе Фонарево. Оказывается, он собирался драться из-за девочки и пустить в ход нож или, как вы говорили, пику. Тогда еще из-за девочек дрались — плоды раздельного обучения. Сейчас я бы тоже пошла с тобой, но это мне было бы очень тяжело. То есть либо я устала, либо становлюсь благополучной. И несколько раз я не ходила. Ничего не случилось. Но я боюсь, что когда-нибудь не пойду или не поеду, хотя во мне будет нужда, и случится что-нибудь непоправимое. А это — дети. Словом, строится новая школа, и гороно сватает меня туда завучем. А школа новая, самая современная. Я устала от детей, но опыт-то у меня есть, и я думаю, что молодых учителей мне есть чему поучить. Вот как ты считаешь? Мне пятьдесят один год. Это тоже учти. Тридцать лет в школе. Двенадцать выпусков. И давали самые трудные классы.

— И спешно нужно дать ответ?

— Время пока есть.

— У вас выпускной класс?

— Да, еще две недели. Вела шесть лет.

— У вас два месяца отпуска.

— Думаешь, отдохну и снова буду в форме? Не буду, Володя.

— Да жалко, я думаю.

— Жалко, конечно. Еще поговорим. У меня на тебя есть некоторые планы. Нужна твоя помощь. Успеем поговорить. Ты плохо выглядишь, Володя. Что с тобой?

— Я очень болен, Раиса Григорьевна.— Ей он не мог солгать и потому не удержался от жалобы.

— И что болит?

— Надпочечники. Опухоль. И нужно оперироваться.

— Жить мешает? Работать мешает?

— И жить, и работать невозможно.

— Ты меня прости, Володя, это не ко времени, но ты мне сейчас нравишься. В тебе нет ухарства. В прошлый раз оно меня насторожило — уж слишком ты хозяином по жизни ходил. Мне нравится твоя работа, Володя. Я ее не представляю, конечно, но то, что ты мне рассказывал, мне нравится. Отдохнуть успеешь. Оперируйся. Я ничего не понимаю в медицине, но чувствую, что все будет хорошо.

А все-таки странно устроен человек: как уж хочется верить, что все будет хорошо, вот стоит человеку, вовсе далекому от медицины, сказать, что все будет в порядке, и уж рад верить ему, и точно — все будет хорошо.

— И как Надя переносит твою болезнь?

— У нас у всех достанет сил перенести несчастье ближнего.

— Не лги.

— Это Ларошфуко. Она хорошо переносит мою болезнь.

— Не лги. Она добрая и интеллигентная.

Это уж Раиса Григорьевна непривычно для себя лукавит — они с Надей друг другу не понравились. Пять лет назад Раиса Григорьевна приезжала к ним на несколько дней (как обычно, без предупреждения, просто посмотреть на их житье-бытье). Надя не понимала, зачем это Раиса Григорьевна вмешивается в чужую жизнь, правда, та не вмешивалась, а просто поговорила и улетела, хотя для нее жизнь Казанцева не была жизнью чужой; Раисе Григорьевне, хоть она этого не сказала, Надя не понравилась...

— Как наши-то? — спросил Казанцев, чтоб закончить разговор о себе.

— Будет тебе, Володя.

— А все-таки?

— А кто?

— Владик Васильев?

— В экспедициях.

— У него один?

— Двое. Чудо-парни.

— Женя Дорофеев?

— Все плавает. В прошлом году прислал открытку, обратный адрес — Индийский океан. Он прежний: открытку прислал на школу — любит эффекты.

— А Лена Максимова?

— Вспомнил Леночку? Думала — забыл.

— Я все помню.

— Хорошо, что приехал. С Леночкой беда. Все собираюсь к ней зайти, да отчего-то неловко. Мы не очень-то ладили с ней. Вернее, ладили, но не дружили. Тут я виновата — просмотрела что-то. И хорошо, что ты приехал.

— Так что с ней?

— Беда с ней. Говорят, пропадает Леночка. Три года назад она разошлась с мужем, я его не знала,

Что у них случилось, тоже не знаю. А полгода назад сын у нее погиб. Нелепость какая — упал из окна четвертого этажа. Четыре года, воробышек какой-то, птенчик. Мы сделаем вот что: зайдем-ка к Лене в гости. И зайдем сегодня же. У тебя первый день? Чаепитие в семье?

— Да. Но к вечеру я освобожусь. Часам к девяти.

— Вот и хорошо.

— Незваные гости, надо сказать.

— Ты можешь приходить когда угодно, Володя, — сухо сказала Раиса Григорьевна, — но человек, к которому ты пришел, должен быть уверен, что ты друг. А дружба, имей это в виду, Володя, понятие кругло-суточное. Все! Встречаемся в девять часов на автобусной станции.

5

Константин Андреевич не ошибся, по стуку в дверь определив, что пришла Анна Васильевна. Это и точно была она.

Кондитер на лимонадном заводе, Анна Васильевна от работы со сдобным тестом — зефиры, пирожные, кексы — сама стала как бы сдобной — пышнотелая, с тонкой белой кожей, круглолицая, с глубокими ямочками на щеках и подбородке, весела так, что всякий момент готова взорваться смехом и потом долго утирает слезы. Тугая, гладкая, с рыжеватыми, даже золотистыми волосами, ходит она медленно, как плывет, и своим появлением напомнила она Константину Андреевичу, что пора бы и за дело приниматься.

— Все так, — рассуждала она, — помидоры по

полтора рубля три килограмма, так, треска — это будет жареная в томате — три килограмма, в холодильнике колбаса, сыр, мясо — дело, это дело. Вот я говорила, что красную рыбу, икорку это уже не осилить, пожалуй, никому и в горло не пойдет.

— Да, пожалуй, икру и семгу нам не поднять, — согласился Константин Андреевич.

— А вот и выход. Если, предположим, достать сиг за рубль восемьдесят и посолить как следует, то будет это, скажем, вкуснее любой семги, — и она, верно, снова подумав, что сиг может быть вкуснее семги, закатилась в смехе, да надолго, да так заразительно, что засмеялся и Константин Андреевич — радостно ему слышать ее смех, безудержный и сдобный. — Так я посолила, а сегодня попробовала — вкуснее любой краснорыбицы. И вкуснее, и мягче.

— Вот и молодец, — похвалил Константин Андреевич, — без тебя бы мы пропали. Уж не свадьба была бы, а так — попойка под селедку.

А она так и зарделась от его похвалы, даже глаза повлажнели от удовольствия.

— Я тут порядочек составила для стола, ну, меню, будем говорить, — и Анна Васильевна достала из сумки лист бумаги. — Первое, конечно, студень. У меня уже есть голова и ножки. Не у меня, дело ясное, а свиные, — и снова в смех ударилась, ну будто кто ей душу щекочет. — Это я сейчас поставлю. Люди ведь, как идут на свадьбу, день не едят. И правильно, потратились на подарки, так хоть на еде пусть навестают. Они приморятся, а мы их тогда салатом притомим. Первое дело — весенний салат. В ход пустим помидоры, огурчики, лучок, горошек.

Константин Андреевич слушал Анну Васильевну уже вполуха, зная, что на всякое дело заводится она

Медленно, но если заведется, то будет как вечный двигатель, и он привычно начал думать, что вот сегодня — последний день с дочерью под одной крышей. И вот ведь как замуж не хотелось выдавать ее. Если б можно было не выдавать вовсе, а всего лучше — будь она нескладехой, недотепой, чтоб уж не приглянулась никому, это ему всего лучше было бы. А так, дело какое: весела, красива, легка — все равно выйдет, не сейчас, так через год. Тьфу ты да и только.

— Второе — рыбный салат, — наслаждалась своей изобретательностью Анна Васильевна. — И тут мы пустим в ход копченую рыбу, картошечку с яйцом и майонезом. Люди-то думать будут, что это все, сил у них к пище нет, а мы им — ах! — блюдо одно другого лучше. Вот у вас сил нет, а вы кушайте, пожалуйста.

А Константин Андреевич под восторги Анны Васильевны начал думать о Коле, женихе Тани, что вот он почти не знает жениха. Ну, парень как парень, от Тани тает, это верно, шофер второго класса, армию отслужил, это тоже верно, а что он за человек, вот ведь загадка. Хотя если разобраться, то ведь не Константину Андреевичу, а Тане терпеть или радоваться, и что толку изводить себя, хорош Николай или плох. Хотя Константину Андреевичу все кажется, что Коля как бы не ровня Танюше получается. Вот почти год его знает, а ни разу не видел с книжкой в руках и ни разу не слышал, чтобы тот такое что-либо сказал, чего не знает Константин Андреевич. А как так? Человек-то юный, ум у него молодой и встревоженным должен быть, ничего-то в нем, пожалуй, еще не отстоялось, не улеглось по привычным полочкам, так поговори с человеком, выдавшим виды, тертым калачом, поспорь ты с ним, это же как интересно может вый-

ти — поспорить о житье-бытье. Вот Таня техникум связи окончила, Константин Андреевич ее на вечерний институт настраивает, да и сама она учиться дальше хочет, так паренек, он как же, мешать будет или поддержит ее? Беда, если будет мешать. Сам Константин Андреевич не выучился своевременно — война, был голодный, семья, — однако способность к учению и даже к инженерству чувствовал в себе всегда: и в техникуме охотно учился, и рацпредложения имеет, и начальника цеха заменял — нравилось ему за книжками посиживать. Недоучился — не его вина, но желание было, и теперь ему очень хотелось, чтоб доучилась хотя бы Таня.

— Ну, а потом, конечно, мы начнем пристреливаться, — все расходилась Анна Васильевна. — Дело важное — запустим мясной салат. Тут вареное мясо нужно — завтра сделаем.

И в это время Танюха в комнату влетела, и Константин Андреевич заметил, что у нее прическа свадебная.

— Вот теперь уж точно — завтра свадьба, — сказала Анна Васильевна.

На голове-то ей корзиночку уложили светлую, блестящую лаком корзиночку. Сказать по правде, привычная ее прическа не хуже — тугой светлый пучок, — но кто же это идет во Дворец с простенькой прической.

— И как же ты будешь спать со своей корзинкой? — поинтересовался Константин Андреевич.

— На валик лягу. Шея, говорят, будет с непривычки болеть, но голова останется целой.

— Да уж шея тебе ни к чему. А голова нужна, чтобы фату прицепить. Ну-ка покажись Анне Васильевне.

Таня проворно вынула из шкафа фату, да такую длинную, какую Константин Андреевич и не видал никогда.

— Ну как, Анна Васильевна? — спросила Таня.

— Хорошо, Танюша, — ответила Анна Васильевна. — Очень хорошо.

Да, хороша, молча согласился Константин Андреевич, и как на мать похожа! Точно так глаза чуть-чуть скашивает, и, как у матери, при улыбке глаза слегка влажнеют. Да уж завтра свадьба, хочешь не хочешь, а душу надо настроить на веселый лад.

Таня набегалась за день, устала и сейчас молча отдыхала на диване. Константин Андреевич чувствовал, что она понимает его печаль. Ему хотелось поговорить сейчас с ней подробно, узнать, например, счастлива ли она сейчас, так ли уж любит своего Коленьку, но вот беда — за много лет у них возникло молчаливое понимание друг друга, серьезного же несогласия никогда не бывало, и потому они не привыкли подолгу разговаривать. И потому все, о чем Константин Андреевич хотел узнать, он скрутил в такой вопрос:

— Ну, как дела, дочка?

— Все в порядке, папа. — Понимала серьезность вопроса и потому успокоила отца: — Все будет хорошо.

Он хотел возразить, что и все люди, выходя замуж, думают, что непременно все будет хорошо, да и кто ж это надеется на худшее, смешно даже подумывать, однако ж Константин Андреевич понимал, что говорить сейчас что-либо лишнее, напоминать о сложностях семейной жизни — занятие пустое, сейчас, как обычно, между ними было согласие, дочь понимала его печаль, и этого было достаточно.

Что говорить, растить детей вообще труд нелегкий, растить же их без матери или отца, следует понимать, и вообще труд тяжелейший — не можешь задержаться после работы, чтоб поговорить с друзьями, и не можешь встретиться с понравившимся тебе человеком, круть-верть, а не позже восьми часов надо прийти домой, потому что тебя ждет малолетняя дочь; летом еще куда ни шло, соседи во дворе поприглядывают, а в осенние либо зимние вечера глаз нужен собственный, потому что необходимо проверить, исправно ли сделала уроки, да покормить, да спать уложить; хорошо хоть подолгу не болела, здоровой росла, а мелкие простуды, а ангина в десять и в двенадцать лет, а карантин по скарлатине в третьем классе, — память о воспитании дочери у него не только отцовская, но и материнская тоже. Жизнь же собственная — заметить надо — только одна. И это не шуточки.

Вот поэтому ты имеешь все права на печаль, когда понимаешь, что дочери своей не так уж особенно теперь и нужен. Кто-либо другой ей понужнее будет, и заботы о нем покруче твоих забот.

Так тянуло Константина Андреевича поговорить, размягчить душу, вспомнить, как согласно тянули лямку, оставшись без ее матери, как крепко держались друг за друга, но толку-то что вспоминать прошлое — жалость ли в душе накрапывать, на благодарность ли набиваться, как же хорошо жили они вдвоем, тяжело-вато, спору нет, да ведь делал что-либо не из одного долга, но, главное, из любви к дочери. Что уж тут говорить лишнее.

— Ты на работу заходила?

— Заходила.

— Про завтрашний день напомнила?

— Напомнила.

— Все придут, кого звали?

— Все. И Лида вышла из отпуска.

— Это хорошо.

Константин Андреевич подумал, что вот на первые дни Анна Васильевна отдаст Тане и Коле, молодоженам то есть, свою комнату, но потом-то они вернутся сюда, к Константину Андреевичу. Это все так, конечно. Но боялся он — не будет ли в тягость, особенно когда дети пойдут. Так что надо бы как-либо уладить дело с Анной Васильевной, поговорить с нею осторожно. Хорошая она, заботливая; раньше не заводил разговор, считая, что он очень Тане нужен, теперь же самое время приспело для такого разговора.

— А ну, снова покажись,— сказала Анна Васильевна, которая не могла долго сидеть молча.

Таня снова кружилась по комнате, и снова было весело, и Таня и Анна Васильевна смеялись.

— Последняя пристрелка? — вдруг услышали они сухой насмешливый голос. — Это хорошо.

В дверях стоял Петр, старший брат Константина Андреевича. Он пришел со своей женой Верой Ивановной. Договаривались так, что Вера Ивановна будет главной помощницей Анны Васильевны.

Петр Андреевич стоял в дверях, широкоплечий, поджарый, с коротко стриженными рыжеватыми волосами. Он старше Константина Андреевича, однако выглядит несколько моложе: тело его еще не тронула рыхлость, морщины врезались не глубоко и были помельче, губы тонкие, сухие и всегда поджаты, так что собеседникам его казалось, что Петр Андреевич их за что-то осуждает.

Только что Анна Васильевна, Таня и Константин Андреевич были веселы, но с приходом Петра Андре-

евича радость их мигом улетучилась. И это потому, что Петр Андреевич своей серьезностью действует на всех умиротворяюще. словно б вот веселится человек безоглядно и в самый накал веселья кто-то ему напоминает, что через полчаса праздник кончится, а завтра на работу, работа же каждого человека важна и необходима, или же радуется человек счастьем внезапному, большой удаче, а ему строго кто-то напоминает, что это еще не вечер, вечер же скоро наступит, и что ждет человека, что останется от него — тленье, не так ли? — все так, все верно, только тленье, но да человеку покружиться хочется, встряхнуться, перья расправить, петушком походить, и какая тут правда может быть правдивее.

Вот и сейчас приход Петра Андреевича напомнил Анне Васильевне, что человек она здесь случайный и временный, и она ушла на кухню, Константину Андреевичу тоже неловко было, что он, как дитя малое, радовался прическе дочери и свадебной фате, а Таня сказала:

- Я к Наташке сбегаю. Она платье доделывает.
- Иди, дочка.

Таня убежала. Вера Ивановна пошла на кухню помогать Анне Васильевне.

— Как жизнь, Петр? — спросил Константин Андреевич.

- А-а, жизнь,— и Петр Андреевич махнул рукой.
- Давно с дежурства?
- Утром пришел.
- Устал поди?
- Привычка. Еще одно дежурство, и в этом месяце все.

Они долго и молча сидели у распахнутого окна. Пали тени от тополей и сараев, солнце скатилось за

пятиэтажный дом и, верно, близится к красной воде залива, но не пропадет оно сегодня — раскат белых ночей подступает, настойчивое их свечение; жара спала, оставляя по себе вечернее томление, печаль и осторожную зябкую лень.

Анна Васильевна поставила варить студень, и запах, все собой обволакивающий запах вполз из кухни в комнату, но и в комнате уместиться не смог и тогда выпорхнул во двор, вызывая любопытство, суету, легкий даже озноб у особенно нетерпеливых соседей.

— Жизнь-то, говоришь? — неожиданно спросил Петр Андреевич. И вдруг сказал: — Что-то надоела мне жизнь, Костя, — он пожевал тонкие выцветшие губы и сухо, скороговоркой сказал: — Обрыдла мне жизнь.

— Да что с тобой сегодня? — забеспокоился Константин Андреевич. — Что-нибудь случилось?

— Ничего не случилось, Костя. Ничего. Может, это как раз и плохо. Сегодня я никак не могу смириться с тем, что ничего больше не случится. Чему положено было случиться, уже случилось. Остался докат — вот беда. Разладился я малость, Костя.

— Ты не заболеешь?

— Не болел восемь месяцев. Трижды пересиливал себя, думаю, и сегодня пересилю. Мне советовали читать книжки и заниматься фотографией. Но я не могу все время заниматься фотографией или читать. Чтобы быть здоровым, нужно довольство собой, а я сегодня собой недоволен.

— Ты уж постарайся не заболеть, Петр, — попросил Константин Андреевич. — Время такое, сам понимаешь.

— Я постараюсь, конечно.

Петр Андреевич Михалев двадцать шесть лет прослужил в армии. Последние годы, хоть имел образование военного фельдшера, занимал должность врача батальона, медицинское его начальство ждало, когда подойдет срок — двадцать шесть календарных лет, — чтоб отправить Петра Андреевича в отставку и отдать его место выпускнику Военно-медицинской академии, как то и положено. Девять лет назад капитан Михалев стал капитаном в отставке, ему положена была приличная пенсия, ехать было некуда, и он поехал в Фонарево, ближе к брату, единственному родственнику.

Хоть служба его в армии была не очень тяжела — фельдшер — это не взводный и не ротный командир, — но он подустал колесить с места на место, так что ждал выхода на пенсию, чтоб прибиться наконец к тихой гавани, да чтоб к гавани постоянной, без перемен, тревог и учений.

Он устроился на «скорую помощь» фельдшером на полставки, это четыре суточных дежурства в месяц — работать больше не позволяла пенсия, да он и не хотел работать больше.

Тихая семейная жизнь, полагал всегда Петр Андреевич, не главная ли эта удача человека? Вера, его жена, — медсестра терапевтического участка поликлиники, дети выросли: старшая дочь — инженер на радиозаводе, у нее двое детей, сын учится в технологическом институте. Дома всегда спокойно.

Вот, например, Петр Андреевич приходит с дежурства. Вера на кухне готовит завтрак. У вешалки комнатные туфли Петра Андреевича, задниками они обращены к двери, чтобы Петру Андреевичу удобнее

было их сразу надеть. Днем он поспит, пройдет по магазинам, книгу почитает на диване, а к вечеру придет с работы Вера. После ужина Петр Андреевич спросит, есть ли что-нибудь стоящее по телевизору, Вера посмотрит программу и скажет, что сегодня такая-то серия, ах, да, вспомнит Петр Андреевич — он вроде бы забыл, — они посмотрят телевизор, потом Вера снова уйдет на кухню, и Петр Андреевич почитает — главным образом это военные мемуары.

Если же по телевизору ничего стоящего нет, Петр Андреевич уйдет в ванную комнату, где станет проявлять фотопленки, либо будет выпиливать рамки для фотографии — этому его обучил Павел Иванович Казанцев — сосед брата. В комнатах уже висят портреты Веры, детей и внуков, а также несколько портретов Есенина, тоже в хороших рамках.

Петр Андреевич всегда считал себя человеком удачливым, везучим. Еще бы, ему во всем повезло: он воевал, и хоть трижды был ранен, но выжил, — это ли не везение? — повезло с женой и детьми, здоровьем и пенсией. И было у него теперь одно желание — чтоб длилось это везение как можно дольше. И потому-то он всегда старался, чтоб душа его была спокойной, всегда хотел одного — чтоб ничем не нарушалось привычное течение жизни.

Это все так. Однако была и в его жизни заноза, за гвоздка некая, и Петр Андреевич недоумевал иногда — ну отчего это так устроен человек, что не может он быть спокойным всегда, отчего это он не может насытиться сразу на все времена. Отчего в самом деле без всякой причины оголяется перед ним его жизнь и уж кажется ему, что видит он свою жизнь как бы на секционном столе — голой, с распахнутой ножом грудью, с распоротым животом — отчего ка-

жется ему тогда, что жить дальше невозможно, нет ему тогда покоя, нет сна душе и все-то его в пропасть тянет, отчего?

В армии, казалось Петру Андреевичу, было проще, он на много дней вперед все знал заранее: столько-то лет осталось до пенсии, во столько-то часов он должен сходить в полковую столовую снять пробу, в понедельник он должен прийти к подъему батальона, а в четверг к отбою, каждый день в такие-то часы находиться в медпункте, во вторник в полковой бане посмотреть, как моются его солдаты,— это было решено задолго до него, и теперь, в гражданской жизни, Петр Андреевич иной раз напоминал себе машину, которой раньше кто-то управлял и тогда она показывала верный счет, потом же о ней позабыли и она работает как бог на душу положит, показывая счет первый попавшийся.

Что же мучит человека? Совесть, может быть? Но совесть его была чиста и перед людьми и перед семьей — он принял на себя больше, чем положено принять одному человеку,— войны и крови хлебнул вдосталь, службу четвертьвековую отстоял в далеких пределах, и уж кто-кто, а он никому ничего не должен.

Внезапно, без всякой причины, среди ровной ухоженной жизни Петр Андреевич с тоской начинал понимать, что у него уже все позади. А впереди-то что ж? Одна осень, один листопад, и второй листопад, и пятый, если очень повезет — то и десятый, а потом отомрет душа, отлетит, как и не было никогда.

Возраст ли подошел такой, возраст упадка и смуты? Но какой такой возраст, если это началось с ним, когда ему было только сорок шесть лет? А хоть бы и возраст упадка подошел, что из того? Иной чело-

век, давно миновавший молодость, не позволявший душе спать, будет гордиться своим возрастом, может быть, и радоваться ему, потому что ум его обострился, душа накопила опыт, и человек этот никогда не унижится до того, чтоб считать себя несчастным потому только, что молодость прошла.

Если же старался человек спокойно прокатить себя по рельсам отпущенного ему времени, да чтоб души не утруждать, да чтоб не причинять ей лишних тревог и, пожалуй, страданий, если заботы его были главное дело о том, чтобы поспать послаще, да щец похлебать погуще, да покрепче обнять жену, тогда дело вовсе другое. То-то и оголяется жизнь, что спится не так сладко, но полночи дремлет, и ши отчего-то не так густы, и не очень уж крепки объятья, вот и начинается счет оставшимся листопадам — плата за дрему души.

Продолжались эти тревоги недолго, лишь несколько дней, и, когда они проходили, Петр Андреевич посмеивался над собой и укорял, что не может же он, видевший смерть солдат, чудом уцелевший и хоть за это обязанный благодарить судьбу, не может же он рассуждать как безусый юнец или нервная барышня, и презирал себя за эти тревоги, но это потом, а когда подкатывали тревоги и он чувствовал, что жива его душа, сознание этого жгло и тогда он твердо знал, что должен проявить себя как-либо — но только как может проявить себя человек, чтоб доказать себе, что нет в нем страхов перед будущим, что он ничего не боится и для его души нет преград.

Проявлял себя Петр Андреевич в эти дни вот как. Когда он знал, что дежурство еще нескоро, что делать дома ему нечего, и чувствовал, что не сможет проявить плечки, не сможет включить телевизор, по-

тому что бесконечны мячи и шайбы, и фигуристы, и лихие шпионы, бесконечно мельканье лиц, все сливается в один круг, рвет грудь, рвет душу, и тогда-то после многомесячного перерыва Петр Андреевич заходил в фанерное кафе у рынка, выпивал шампанского, закреплял дело коньячком, вливал в душу бром, праздник устраивал, потом шел в привокзальный ресторан, а где потом бывал и с кем и что делал — это вспомнить невозможно.

И только вспоминается сквозь туман несчастное и вдруг постаревшее лицо жены Веры, и она всегда застигнута врасплох, волосы ее спутались, она не успела спрятать седину, и, как малого ребенка, она отхаживала его во время болезни, несколько дней отпаивала его бульоном и чаем с малиновым вареньем, заставляла много есть, чтоб он скорее выздоравливал.

А когда Петр Андреевич вставал, то чувствовал, что сил нет и ноги дрожат, но зато душа успокоилась, и в ней все ровно, все спокойно, снова согласие с самим собой, снова тишина. Только бы день прожить — и это спасибо. Покой, короткая память, и прощай, прощай до следующего раза.

Кажется, что же проще — как прижало тебя, как стало тревожно, сделай шаг, толкни плечом дверь — и ты в теплом нутре кафе у рынка, сделай два шага — и ты окунешься в шум и веселье привокзального ресторана и вливай в себя горький бром хмеля — куда как проще. А то ведь терпеть надо, озабочивать ум и сердце тяжелым трудом, а ведь как все-таки хочется душе привычного покоя.

Петр Андреевич нес в своей душе спокойствие, словно б некий сосуд, до краев наполненный драгоценной влагой. Он и понимал, что действует на окру-

жающих как-то замораживающе, знал, что кажется им долдонистым и даже неумным, но ничего не мог с собой поделать. Потому что все его раздражало: и чужое веселье, раз сам он невесел, и чужое волнение, раз сам он изо всех сил оберегал спокойствие своей души.

Вот и сейчас Петра Андреевича раздражала суета в доме брата, предсвадебное волнение, раздражала сожительница брата Анна Васильевна — тем именно раздражала, что вот уже четыре года не могут они оформить свои отношения законным порядком, раздражал двор, видный в распахнутое окно, этот бесконечный двухэтажный ряд сараев, захламленность, груды дров.

Но больше всего раздражало Петра Андреевича то, что он очень хотел раскрыть перед братом свою тайну, да не смел. Тайна же в том состояла, что рядом с его главной жизнью шла другая жизнь, никак не соединяющаяся с жизнью главной.

Впрочем, он скрытничал напрасно: в маленьких городках тайн не существует. Любое, казалось бы, надежно скрытое дело становится известным в момент начала его, а может, непонятным путем и до его начала.

История Петра Андреевича длится пять лет.

Был мгlistый декабрьский день, и Петр Андреевич безошибочно знал, что он заболеет.

Безошибочное это знание шло оттого, что, как всегда перед началом болезни, зрение его прояснилось и он видел свою жизнь до последнего дыхания, душа его после долгого сна вновь распахнулась, он ничего уже не мог от себя скрыть.

И вот это состояние: беспроглядный декабрь, и налили морозы, и не нужно скрывать от себя — мало

* Осталось, несколько осенних взмахов, еще немного, и пора опускать занавес, пора выбрасывать белый флаг, ох же и тошненько.

Вечером, приняв положенное и даже сверх того, Петр Андреевич стоял в темном переулке недалеко от дома, все не мог выбраться из глубокого сугроба, да выбраться и не хотел, мутным паровозным глазом висела над ним луна, жизнь его замерла на мгновение, и не хотелось, чтоб это мгновение разрывалось, лбом давил он твердую преграду столба, душа его была рассеченной, а потом и взорванной, и кто-то незнакомый уговаривал его выйти из сугроба, тянул за рукав, испуганно вздыхал, но он согласен был скорее замерзнуть, чем возвращаться домой, его поддерживали, он налег на чье-то хрупкое тело и брел куда-то далеко-далеко, сквозь темень, качающиеся фонари, всхлипы жалости и ветра, а потом рухнул куда-то — и провал, провал, совсем провал.

А утром, когда душа спокойна и почти блаженна, когда незнакомая, но прекрасная мелодия поет в тебе, когда нет еще тяжести, но есть короткая легкость, Петр Андреевич открыл глаза и увидел незнакомую комнату, и, судорожно пытаясь собрать в целое осколки вечера, увидел у окна молодую еще женщину в цветастом халатике, и растерянно улыбнулся ей, и, когда она подошла, Петр Андреевич осторожно притянул ее за руку и в благодарность за спасение сжал ее худое плечо. Тогда он узнал женщину — то была Валентина Федоровна Косарева, двадцативосьмилетний кассир городской сберкассы. Месяц назад у нее была тяжелая пневмония, и Петр Андреевич трижды за ночь приезжал делать ей уколы.

У этой молодой женщины с телом подростка была

тонкая вытянутая шея, коротко остриженные волосы и большие, широко распахнутые серые глаза.

Он снова сжал ее худые плечи, вдруг стало так спокойно, как никогда в жизни, и тогда он обнял и поцеловал ее, потом они наперебой начали говорить, и уже не верилось, что они и знакомы-то почти не были.

— А я чувствовала, что встречу вас сегодня,— говорила Валентина Федоровна, еще не привыкнув к нему, еще стесняясь,— я пошла к своей подруге Зине, просидела у нее весь вечер, а когда увидела, что у бани стоит человек, я так и подумала о вас. Даже и не удивилась. Только я не знала, что вы можете вот так стоять,— она говорила как-то виновато, тербя не то полотенце, не то кухонную тряпку.

— Вы разве не знали, что я могу принять лишнее?

— Нет, не знала.

— А я думал, весь город знает,— усмехнулся Петр Андреевич.

Они говорили не уставая — ничего нельзя скрывать, времени мало отпущено.

Отец ее, как и Петр Андреевич, всю войну воевал, да на войне и остался.

Мать умерла двенадцать лет назад. С тех пор Валентина Федоровна одна. Одна — это значит одна. Никто не поможет, рассчитывай только на себя.

Работа, дом, иногда кино. Был телевизор, еще мамой купленный, но он испортился безнадежно и пришлось его выбросить. Новый же собиралась купить, но всякий раз были более неотложные нужды. От мамы же осталась на стене картина Шишкина «Корабельная роща».

Весь этот день Петр Андреевич был в том состоя-

нин, когда кажется, что мир ровен и счастлив, он знал, что стержень его времени восстановился, никогда бы и не выходить из этого состояния, навсегда задержать в себе счастье, и счастье это сжато до точки, и всегда будешь ты сидеть на той кровати, поджав ноги, а против тебя на стуле будет сидеть эта женщина, и, когда она распахивает спокойные тихие глаза, время лишь чуть дрожит, взмахивает тебе прощальным крылом, и вас несет река тихого разговора, и не видишь ты галопа времени, не слышишь скрипа огромных его шестерен, не заносит оно тебя на крутых своих поворотах.

Вечером же субботним, чтоб хоть немного раздышаться от счастья, они вышли на улицу.

Мело тогда декабрьской метелью, чернотой завалило небо, все закружило. Снег колол лицо, лез за шиворот. Вдали над старой баней будто бы еще мерцали звезды, но они сворачивались, как сухие листья, сворачивались и навсегда пропадали.

Подняв воротник, опустив наушники шапки, сложившись пополам, Петр Андреевич шел навстречу метели. Выставленным вперед плечом, лбом разрывал он крутой снег.

Валя пряталась за него, старалась не отстать, и они молча шли вперед и вперед.

Небо вдали налилось тусклой медью, и медь эту закружило, сжало до густоты, до точки, снесло поближе к земле, и так, над самой землей, покатило вдаль, к парку, к Слободе.

Вдруг звук гармошки рванул воздух — забытый уже звук. Это у последнего дома, лбом упираясь в дерево, стоял гармонист, ноги его разъезжались, он рвал случайные звуки, но, вдруг оттолкнувшись от дерева, резко выпрямился и качнулся, но устоял и голо-

ву вскинул, и, как бы собрав всю оставшуюся волю, рванул мехи и в голос запел: «А волны бегут от винта за кормой и след их вдали пропадает», и так, шатаясь, брел он в распахнутом метелью пальто.

Потом город кончился, и у спортшколы свернули они направо, к пустырю, пошли по задыхающейся, но еще видной тропке, а когда дошли до середины пустыря и уже виден стал черный лес, Петр Андреевич вдруг остановился и, запрокинув лицо в медную муть неба, долго стоял, чуть покачиваясь от легкого головокружения.

И мгновенно, пронзительно понял Петр Андреевич, что он любит эту женщину, и понимание это обожгло сердце радостью — да он ведь жив еще, и есть оправдание его дыханию на земле. Упасть бы в сугроб на лицо и замолчать, потому что нельзя говорить в такие минуты, потому что все сразу тускнеет и становится ложью.

Он притянул Валю к себе, и, когда мокрым лицом она ткнулась в его воротник, Петр Андреевич вытянулся и замер, и:

— А-ах! — заскрипел зубами.— А-ах!

Медленно дошли они до леса, и в лесу метель уже поутихла, но не утихало сердце — всякую минуту оно готово было разорваться.

Долго стояли, молчали, не отрываясь друг от друга. Метель уже утихла, и, как глубокие вздохи, иногда лишь пробивались внезапные закруты. Вдали над лесом устало проявлялась смутная луна.

Медленно побрели домой. У того же самого дома стоял все тот же гармонист в распахнутом пальто и пел все ту же песню.

Земля, да не будь же ты мачехой, хоть иногда

давай сердцу покой, хоть на минуту, хоть на вздох не будь мачехой — матерью будь.

Снова подхватило снег, закрутило, столбом понесло кверху, взвихрило ясную уже луну. «А волны бегут от винта за кормой» — все повторял гармонист, снегом понесло вдаль, к лесу — «и след их вдали пропадает».

И был еще день — воскресенье, и казалось, что бесконечно их счастье. Всем хороши праздники и воскресенья, одна беда — всегда приходят будни и понедельники.

Воскресным вечером Петр Андреевич вышел из подъезда, немного постоял, несколько раз глубоко вдохнул морозный воздух, закурил папиросу и, когда щелчком бросил окурок, понял вдруг, что пора домой, промелькнули три дня — оглушение, сон, ничего больше.

И он пришел домой, черный, заросший щетиной, с тяжелыми мешками под глазами.

Его ждала Вера Ивановна.

— Где ты был?

Он не ответил. Покручивало и посвистывало за окном.

— Я все знаю. Ты вел себя словно на необитаемом острове. А ведь это коммунальная квартира. Соседка мне все рассказала. — Она села на диван, оборотясь к окну.

Он сел рядом с женой, осторожно погладил ее по голове, боялся, что она отстранится, но она не отстранилась, но даже потянулась теменем к его ладони, и тогда он обнял ее, и она ткнулась головой в его плечо, под мышку, а он гладил ее волосы и чуть касался бледного в сумерках лица.

— Ну как ты мог? — с трудом сдерживая слезы,

спросила она.— Ты, я, так долго, как же можно? Не понимаю. И почему? Да за что же меня так-то? И что она такое? Почему? Представляю ее себе. Тщедушное безликое существо.

— Перестань! — резко сказал Петр Андреевич.— Не унижайся. Припаяны мы очень друг к другу — вся жизнь. Сиамские близнецы. Я без тебя пропаду. Раз иначе невозможно, значит невозможно.

На том и закончился разговор.

И потекла себе жизнь дальше. Заведенный раз и навсегда быт. Во всем размеренность. Пачка папирос на два дня. Один день двенадцать папирос, другой день — роскошь — тринадцать. Завтрак вовремя, обед вовремя, вовремя лечь спать. Работа, дом, дети, жена, фотография, иногда книга. Так было.

Жизнь шла, и Петр Андреевич никогда не вспоминал зимнее знакомство. А если и вспоминал, то сразу суетливо старался укоротить память. Да, было, конечно, и с кем не бывает, а вот вспоминать вовсе не нужно.

Все так. Не вспоминал. Но летом, в июле, когда Петр Андреевич в очередной раз после долгого перерыва засел в ресторане, он вдруг вспомнил Валю, да так внезапно, что зашлось дыхание.

Он поспешно встал, вышел на улицу.

Был душный предгрозовоый вечер. Земля сдавлена была тяжелыми чернильными тучами.

Когда он распахнул дверь и вошел, Валя сидела у окна и шила. Увидев его, она встала и чуть подавалась вперед, и была она в том же халатике и том же переднике, что и восемь месяцев назад, и так же удивленно и радостно распахнуты ее глаза, она совсем не изменилась, вот только волосы отросли за это

Время, и она собрала их в пучок и затянула пучок черной аптечной резинкой.

— Валя! — позвал ее Петр Андреевич, и когда она подошла и он обнял ее, то казалось ему, что ничего не изменилось, все длится прежнее мгновение, он только вышел на крыльцо покурить, бросил окурок, и, пока окурок падал, прошла зима и наступило лето, он же только вышел и сразу вернулся, встреча их не прерывалась, а теперь не прервется подавно.

— Валя, — говорил он. — Ты и я. Вместе. Да.

— Я ждала вас, а вас не было. А я все равно ждала. И мне было очень хорошо эти восемь месяцев. Я вас ждала, вы и пришли.

— Да нет же, я никуда не уходил. Покурил и вернулся.

— Да, вы не уходили, — согласилась она.

А потом наступал воскресный вечер, и Петр Андреевич выходил во двор и внезапно чувствовал, что праздник кончился и ему пора домой.

Он уходил, чтоб через полгода снова вернуться на несколько дней. И эти дни сливались в одну непрерывную цепь, в другую жизнь, которая шла рядом с его главной жизнью.

А в главной жизни ничего не менялось. Дежурств он не пропускал, сроки между приступами болезни не укорачивались — все те же шесть-восемь месяцев, — и никто поэтому не вмешивался.

Смирилась и Вера Ивановна. Зная, что Петр Андреевич лгать не станет, она не расспрашивала его, понимая, что не всякое знание правды облегчает жизнь. Неделью они разговаривали сухо, отчужденно, жили как бы сами по себе, но когда становилось понятно, что в одиночку не продержаться, она прощала его, и снова длился обычный порядок жизни.

Пять лет идут рядом две жизни Петра Андреевича. Ровно нанизывались кольца дней, и лишь иногда что-то заклинивало в привычном нанизывании колец, и тогда Петр Андреевич на три-четыре дня исчезал, чтоб другая его жизнь вытеснила жизнь главную.

И понятно ему было, что обе его жизни могут пропасть только разом. Порознь — никак. Только в тот момент пропадут они, когда перестанут лететь кольца и время остановится. Только тогда и никак не раньше.

И сейчас, сидя перед братом, Петр Андреевич маялся оттого, что ему хотелось тайну приоткрыть, с другой же стороны, понимал, что брат помочь не сможет, и, следовательно, раскрываться толку не было. Но, однако ж, душу выкручивало, и это особенно раздражало Петра Андреевича. Казалось бы, раскройся — это ж брат, это ж друг, помощи от него не будет, но и понимание дружеское — это тоже дело не последнее, однако Петр Андреевич считал себя примером для брата и расставаться с этой примерностью было ему прямо-таки невозможно.

И тут, на счастье, пришел жених.

Константин Андреевич познакомил их. И вот ведь что: впервые видит его Петр Андреевич, и если глазами посмотреть спокойными, то парень как парень — молод, высок, крепок, лицо еще почти мальчишеское, хоть армию прошел, а черты лица мягкие, не затвердели еще по-мужски, — но все в нем раздражало Петра Андреевича. Казалось ему: молод ты еще в мужья-то лезть, на ноги еще не встал, а туда же, да дети пойдут, об этом ты думал? И помнил Петр Андреевич, что сам-то он тоже не стар был, когда женился — два-

дцать три, как и парню этому,— но отмахнулся от довода такого — времена иные были, люди выросли быстрее.

Сердило Петра Андреевича и то, что парень казался ему развязным, нагловатым даже — руками как размахивает, затылок поглаживает, — и понимал, что парень просто стесняется своего тестя будущего и его брата, и понимал все, а сделать ничего не мог с собой. Встряхнуться бы ему, развеселиться, пошутить с братом и пареньком этим, вот и легче бы всем стало, это была бы радость от встречи с новым родственником, но тяжесть — желание спокойствия своей душе — булыжниками вдавливала Петра Андреевича в диван, и сердила его маета перед свадьбой и озабоченность жениха завтрашними машинами, словно б он решает какие космические задачи.

— Я ему говорю — в Фонарево надо, а он нос воротит,— возбужденно рассказывал Николай.— Парень один шепчет — кинь ему заранее, а я никак не могу. Еле уломал. Сказал — выручай, браток, такой же я шофер, как и ты, вот тогда согласился.

— И хорошая машина? — поинтересовался брат Костя.

— «Волга». Черная, новая. Кольца на крыше. Она к десяти придет. Нужно будет ее украсить.

— Это уж моя забота,— сказала из коридора Анна Васильевна.— Тебе будет не до этого.

— И добро,— сказал Костя.— А как автобус?

— Тут удача. Я попросил завгара, он даст автобус. Но пришлось его и шофера на свадьбу пригласить. Ну, и еще несколько человек.

— Добро. Веселее будет. Значит, все готово. Женщины, вы сговорились о закусках?

— Готово, товарищ начальник,— сказала Вера.—

Завтра мы все и раскрутим с утра пораньше. На горячее решили делать бифштексы.

— Да мы их яйцом зальем,— не смогла скрыть удовольствие Анна Васильевна.— Яйцо будет сиять. А лучок постреливать. Только так—чтоб с пылу с жару.

— Вот и хорошо.

— Ну, так мы пойдем,— сказал Петр Андреевич. У него хватило духа не портить своим присутствием чужого веселья. Иной раз случается ему сидеть в гостях и чувствовать, что всем он в тягость, а смелости вовремя уйти не хватает, потому что все время ноет надежда, что он еще развеселится и покажет себя, но веселья нет и нет, хозяевам тяжело, ему тяжело вдвойне, а вот встать со стула и уйти — нет резвости. Сейчас же подъемный дух был в нем, и Петр Андреевич, не затягивая прощания, сказал: — До завтра. В десять часов мы как штык.

7

Ну, если разобраться, так худо ли, когда вся семья в сборе, все здоровы и рады друг другу, а на столе уже мясо с картошкой стоит и огурцы свежие под сметаной, так худо ли собратиться хоть раз в пять лет, поговорить или помолчать, и каждый на то про себя надеется, что если снова придется встретиться через пять лет, так никто из присутствующих не уклонится от встречи. Худо ли? Нет, совсем не худо.

А мать-то расстаралась: помидоров не поскупилась купить, ну, несет ее, несет, все-то Вовчика своего оглаживает, присядет на стул с ним рядом, обнимет, к плечу припадет и вдруг всплакнет — долго ль жен-

ским слезам скопиться и лстним дождичком пройти, пыль даже не прибив.

Все рады встрече.

Рад был и Павел Иванович. Однако ж он радовался больше для других, чтоб на него никто обиду не понес, сам же соображал так, что с этим делом надо справиться до вечера, часов что ли до девяти, а потом пора в сарай — вещицу эту, как ее там, тоже ведь караулить надо. Потому что, а ну как кто воспользуется его ротозейством да упрет вещицу, или же дети задумают спичками баловаться да сарай подожгут, и это сейчас, за день до свадьбы,— это и подумать невозможно, а пережить это дело удастся вряд ли.

А Евдокия Андреевна из кожи лезет, всяк кусок, что в детстве недодала, норовит сейчас деткам в рот запихать, еды-то наготовила,— а что за дело Павлу Ивановичу до еды? Будь он человек, что век помнит, где и что поедал да как и чем угощали (а вот у Лаврентьевых студенек — пальцы заглотишь) — так Павел Иванович через полчаса забудет, что он ел и ел ли вообще. Евдокия Андреевна оставит ему обед, но если сама не прибежит и не покормит, то он до ужина не вспомнит, что брюхо к еде тоже не глухо. А вот какую шайбочку когда и для чего делать — это он всегда в голове держит, да где наждак хороший достать, да у кого инструмент какой попросить — на это память его заострена.

А за столом все не нарадуются друг на друга. Веруха облокотилась на стол и так снизу вверх преданно на брата смотрит, словно б он леденец на палочке, так бы его за щеку и сунула.

— Твой-то домой пришел? — спросила Евдокия Андреевна.

— Придет он, как же. А ведь утром договорились по-людски. Буду — все! Будет он! То он идет в футбол играть, то другу помочь приемник отладить, то срочная халтура. Ну, не тянет человека домой. Верно, не набродился еще.

— Так взяла бы детей сюда, — сказал Павел Иванович, — хоть на дядьку посмотреть.

— Отдохнуть тоже надо. Разве ж поговоришь при них? А свекруха выламывается. Тоже, мол, молодая, тоже, мол, жить хочу. Понимаю, молодая, сорок семь всего.

— Ты ее мамой называешь? — спросил Вовчик.

— А как же ее называть будешь? Живешь же с ней. Да ну ее. Что вспоминать. Дайте вот я на Вовчика погляжу.

А Павел Иванович неодобрительно так это думал: говорил он когда-то — не скажи козой, не рвись ты к своему Петеньке, молоко на губах у него за версту видно, а все — телемастер, телемастер, самая модная специальность. Павел Иванович вовсе не хотел, чтоб дочь выходила замуж. А не послушала, Петя-Петя-Петушок-Золотой-Гребешок, а у него как молоко тогда не обсохло, так и до сих пор все не обсохнет — к друзьям его тянет, поиграть, попрыгать, молод, верно, еще, не нанюхался своей мужской самостоятельности. Вот теперь и хлебай свою кислую кашку.

С одной стороны, Павел Иванович понимал, что надо бы дочь пожалеть, с другой же стороны — пожалей ты человека, он и раскиснет, а силы для жизни где ж собрать тогда?

— Счастливая твоя Надя, Тепа, — сказала Веруха.

— Чем же она счастливая? — усмехнулся Вовчик.

— Муж у нее вон какой. Самостоятельный. Ученый. С тобой ей всегда интересно.

— Не скажи. У нее, может, свои печали.

— Да был бы у меня такой, как ты, я бы не нарадовалась. Грустно тебе — я развеселю. Весело тебе — так пусти меня в свое веселье. Пыль бы с него стряхивала. Раз с ним интересно. Что надо от него? Только чтобы все вместе — и радости, и печали. Да больше ничего.

— Эх, Вера, в каждой избушке свои игрушки, — так, к слову заметил Павел Иванович и внимание обратил, что Вовчик удивленно и настороженно посмотрел на него.

— Да я бы работала за двоих. Ты отдыхай. Но только понимай меня. И иногда пожалей.

— Да, Вера, хорошо, где нас нет, — вставила свое Евдокия Андреевна, — на всех не наработаешься.

— А сейчас я, что ли, не работаю? И в ателье, и дома. В ателье я закройщица, а дома сама себе закройщица и мастер. Два дня — брюки. Все вечера заняты. Да ты ему чтоб ягодицы обтянуты были, в коленях двадцать два, а голень тридцать, мол, немецкая модель. Да ширинку на молнии. Да сердечко на штанину нашей. Каждый вечер без продыху. Я согласна, мама, но для такого, как наш Тепа.

И она начала дурачиться с братом — то в бок его толкнет, то на шее повиснет, резвится, как маленькая девочка, да она и всегда будет чувствовать себя малой девочкой в присутствии брата — он старше ее на семь лет, все смеялись, и Веруха, и Вовчик, и Евдокия Андреевна, а Павел Иванович малость расслабился, размягчился и рад был, что Вовчик развеселился, и вдруг Павел Иванович посмотрел на сына внимательнее и вздрогнул от неожиданности — такие

Печальные глаза были у сына. И печаль эта была давней, застоявшейся. Словно б человек знает о себе тайну постыдную, или же он кого убил, или близкого друга предал.

Словно б ты сидишь в цирке, в первом ряду, и клоун похохатывает, люди покатываются со смеху, а ты смотришь в его глаза, и они такие печальные, что ты понимаешь — клоун думает в это время о доме, что вот жена или ребенок больны, или же у них жилья нет, и тебе уж не смеяться, а плакать впору.

— Может, мне с ним поговорить? — вдруг спросила Евдокия Андреевна, и Павел Иванович даже вздрогнул — уж не усекла ли она его мысли. Этого быть, пожалуй что, не могло, но он все-таки спросил:

— С кем?

— Что?

— С кем поговорить?

— Да с Петей, зятем твоим. Совсем спит отец, без вина, а спит.

— А что с ним говорить?

— Ну как это что? Дочь же родная. Не могу в обиду дать. Это тебе все струг-поструг, а мне дочь жалко.

— А не говорили с ним, что ли? Если человек сам первый не заводит с тобой разговор, так уж толку не будет.

— Так мне что же — вот так сидеть и рот сделать корытцем? Дочь-то дорога мне, поехала-махала.

— А что скажешь ты ему? Тунеядец он? Нет. Деньги домой приносит? Он зарплату приносит домой, Верка?

— Приносит. А как же!

— И все. Отскочил. И ты ему не указчица.

Павел Иванович защищал зятя не потому, что тот ему нравился, нет, вовсе не нравился, однако ж при детях очень хотелось ему срезать Евдокию Андреевну, с одной стороны, уж больно она гоношливая и без мыла пролезет в любую скважину, с другой стороны — показать хотелось, что он тоже не лыком шит и гонор свой имеет. Так-то он особенно против Евдокии Андреевны никогда не пойдет, потому что это плевать против ветра, но тут-то разошелся перед детьми. За то, пожалуй что, и получит штрафной щелчок по носу.

И точно.

Евдокия Андреевна, усмехнувшись, сказала:

— Ну, раз такое дело, раз на хлеб и молоко зарабатывает, все — человек святой и прощен. Некоторые так и вовсе не работают. Жена пусть пашет, а он на лавочке газетку почитает, либо в домино постучит, либо в прохладном сарае подремлет.

— Это кто ж такой? — не сдержался Павел Иванович. Ему так это смириться бы и, шуточками защищаясь, отойти в глубокие окопы и там надолго залечь, глядишь, буря и поутихнет.

— Да так, дядька один чужой. Катюшки он постругивает. А жена, совсем молодуха, пускай попрыгает, словно бы бабочка полетает.

— Мама, да будет тебе, — попросил сын. Не то чтоб за отца вступается, а просто хочется ему тихо в семье посидеть.

— Да он, дядька этой чужой, пенсию вместе с тем получает. И никого не просит бока колотить на работе. Он не жадный и знает, что всех денег не заработаешь. И в день пенсии просит всех отвалить от него до следующей получки. А ему, дядьке этому чужому, шестьдесят восемь любезных вот как хватает. А уж

кто хочет гнаться за прыткими людьми, тем он, конечно, не запрещает.

— Все равно весь день плотничаешь, так поработал бы где-либо в домоуправлении. Восемьдесят рублей лишние ли?

— А для чего они?

— А чтобы жена отдохнула. У нее давление повышенное.

— Это от жадности давление. У всех давление от зависти или жадности — уж точно.

— Оно конечно, если человек всю жизнь себе самому пуп — дело другое. А всё вокруг него вертись и трепыхайся. Так бы и ни у кого забот не было — открой рот и дыши, наслаждайся.

А он-то, ну что же мог-то, да ничего и не мог — права она, права, что делать, если ему всю жизнь лодочка да свой сарай всего дороже?

— И на все-то ему начихать, — вовсе Евдокия Андреевна валила Павла Ивановича на лопатки. — Вот ты спроси, Вовчик, сколько лет твоему Сереже, ведь не ответит.

Тут Павел Иванович малость растерялся: Евдокия Андреевна попала в точку, он не знал наверняка, внуку Сереже девять или десять лет, — не больше десяти, это точно, не меньше восьми — еще точнее, значит, девять или десять, а вот сколько именно — это, пожалуй, очень интересная загадка.

— Знаешь, Дуся, — сказал он строго, — ты говори да не заговаривайся, знаешь, за это дело, за такое именно, это самое, как его, — сам же лихорадочно подсчитывал, однако очень опасался попасть пальцем в небо.

— Ну, будет, мама, — снова вступился сын. — Что сейчас считать — тот много делает, тот мало. А что

нужно? Я помогал и помогать буду. Вера работает. У тебя и у папы пенсия. Проживете, верно.

— Не понимаешь, Вовчик,— огорчилась Евдокия Андреевна.— В этом ли дело? Да я не стану дома сидеть, пока могу работать. Что дома-то делать? В четырех стенах. Сидела год с Веркиным Аликом, совсем извелась. Лучше уж работать. Дело-то в нем. Ему все трын-трава, вот ведь что обидно.

— Да где же трын-трава? Он же с паровоза не по своей воле ушел. А что не нравилось быть контролером, что уж здесь сделаешь? Заслужил пенсию — пусть отдыхает.

Павел Иванович был благодарен сыну за то, что он вступился за него, но он знал, что Евдокия Андреевна отыграется, не сейчас, так в будущем, и в будущем, надо заметить, самом ближнем.

И снова за столом развеселились.

— Ой, Тепа, я вспомнила, какой ты смешной был, когда тебя назначили в наш класс пионервожатым. Такой надутый, важный. Нет, учителя бы из тебя не вышло.

— Да уж пожалуй. Воспитывать я никого не умею. Себя-то и то с трудом.

— А Сережу?

— Надя все больше. Но теперь и я буду. Работы будет поменьше, может, я и сумею доказать, что мог быть сносным учителем.

— А мой тоже детей любит,— вдруг похвасталась Вера.— Жалко же детей — он их любит. Не люби он детей, о чем речь!

Вот и вернулись к прежнему разговору о Петеньке. Это уж точно — когда заноза сидит, то покоя тебе не будет.

— Вот если бы припугнуть его,— сказала Вера.

— И припугни,— откликнулась Евдокия Андреевна.

— У моей подруги Ирки — вместе в ателье работаем — такое же дело вышло. Тоже припугнула — ушла с детьми к матери,— так стал как шелковый. Потому что детей любит.

Павел Иванович насторожился, он уж догадался, к чему Вера, дочь родная, разговор ведет, однако и думать побоялся, что Вера доскажет свое желание.

— Только вот Ирка советует прописаться. А то, говорит, будешь между небом и землей болтаться. Это так, на короткое время.

— Так ты же выписалась от нас еще до ремонта,— напомнил Павел Иванович,— тогда и прописалась у свекрови, чтоб им трехкомнатную дали. А то, если б здесь осталась, дали бы двухкомнатную. Одна комната всегда твоя, и хоть что с ней делай.

— Если б знать, где упасть, и что вспоминать об этом,— сказала Евдокия Андреевна. Так и не догадывается, к чему Верка клонит.— И можно что сделать?

— Делают, верно, люди. Как-то устраиваются. Это чтоб на короткое время, только припугнуть.

А Павла Ивановича понесло уже в догадках, и он, себе еще не веря до конца, с надеждой большой, что ошибается, так это тихо, доверчиво спросил:

— Это вроде случись что с нами, вот с матерью или же со мной, так зачем жилью-то пропадать? Чужим ведь людям достанется, а вы с Вовчиком здесь родились, жалко, верно?

— Да конечно жалко,— сразу согласилась Вера, пойманная его доверчивостью.— Как не жалко? Пропадет ведь.

А ведь не ошибся, горько подумал Павел Иванович, вот тебе и здрастье, сели и сразу слазьте, вот

и дочка родная, не то горько, что боится, что отец-мать исчезнут когда-либо — это что удивляться, с каждым такая малая штучка случиться может, — а то горько, что уж все посчитала, и вот жалко ей родительское жилье, значит, с потерей отца-матери смирилась.

Павел Иванович, когда подлавливал дочь, надеялся, что она и думать не думает о своей выгоде при их испарении с земли, и тогда бы он не сдержал благодарности и приласкал бы дочь, чего в жизни никогда не делал. Но не ошибся — вот как горько. А чего он хотел, если говорить прямо, на что рассчитывал? За жизнь свою туманную никогда он не присыхал к своей семье так, что никакими уж силами его не отделить от близких, ну и получил — довольно-таки горьковато это, прямо скажем тошненько.

— А верно, что жилью пропадать? — согласилась с дочерью Евдокия Андреевна. — Нас не станет, а тебе с детками жить. Мало ли что случится?

— Да ничего не случится, — вмешался сын, — вам до ста лет еще далеко. А меньше ста лет жить и не стоит. Дом при вас еще два капремонта переживет.

Эх ты, как гладко выкатывает слова, подумал Павел Иванович. Он был благодарен сыну за защиту, но и подумал, что ему куда как легко благородство обозначать, он вон как далеко живет, да и забот у него не так чтобы много, катается поди как сыр в масле, а у Верки двое детей да муж дома не держится — вот как сложновато все у Павла Ивановича скручивается: и обидно ему, но вместе с тем и жалко — отец, уж как тут ни крути.

Он незаметно так это глянул на часы и — тютю, уже четверть девятого. Хоть солнце еще вовсю сияет, но двор поди медленно ко сну склоняется, пустеет по-

ди на скамсечках, людишек во дворе все помене и помене, так что и ему пора уже на вахту свою заступать.

И тогда, чтобы примирить дело, вернее сказать, оттянуть его решение на некоторое время, Павел Иванович сказал:

— Ладно, мы с матерью что-либо такое подумаем, а там и сообразим.

Обрадованные, что проскочили скользкое место, все сразу повеселели, оживились, мать чай подала с песочным печеньем, и снова оживление, снова радость — вот все мы вместе за этим столом, но к половине девятого вспоминать начали, что для каждого вечер еще не закончился: Вовчику надо идти к учительнице, Вере надо детей укладывать, Павел Иванович вспомнил, что ему кое-что посмотреть в сарае требуется, и все мирненько разошлись, довольные семейным вечером и друг другом.

Медленно опускалась во двор прохлада. Красный диск солнца лежал на крыше пятиэтажного дома, но удержаться не мог и медленно соскальзывал с крыши все ближе и ближе к заливу. Суeta вечерняя, как и ожидал Павел Иванович, прошла, однако на скамечках еще сидели люди, уже притихшие перед наступлением вечера, голоса негромкие, движения полусонные, замедленные, как бы уже с зевотцей.

Павел Иванович отворил дверь и подпер ее заранее приготовленным кирпичом. Тогда он подошел к своей вещице и, не снимая с нее чехла, похлопал по боковой стенке и, прислушиваясь, вздрогнул: сквозь сонное бормотание людей на скамейках, сквозь звуки шагов за сараем, сквозь ленивое жужжание комаров он услышал легкое шипение и пощелкивание внутри

своей вещицы и удовлетворенно сказал себе — это все в порядке.

Он сел на табуретку так, чтоб вовсе не чувствовать тяжести собственного тела, руки сложил на коленях, голову свесил на грудь и так это долго сидел, вспоминая работу над этой вещицей и трудности, которые подстерегали его всякий день.

Тайны-то какие были: каждый раз перед работой проверял, не подсматривает ли кто, а набрасывая тряпку на эту вещицу, мелком отмечал, где край тряпки проходит, не глазела ли жена, и всякий раз с удовольствием отмечал, что не глазела, все в прежней позиции.

А зря ли скрытничал, зря ли пять лет из рук выпустил — нет, не зря, вон шестерни поскрипывают, вон шелестит что-то в машине, пощипывает, пощелкивает, дает всему ровный ход. Он сидел долго, бросив руки так, чтобы они впервые за пять лет отдохнули, и с радостным замиранием в груди, с веселой даже надеждой думал, что не зря работал, не зря скрытничал, для него это ясно, для всех же станет ясно завтра, и вот бы поскорее это завтра приходило, никогда Павел Иванович не ждал с таким нетерпением завтрашний день, ах, как весело, как неогорчительно ему живется. Протрут завтра соседи глаза, проморгаются и пусть не сразу, но сообразят, однако ж, какую вещицу приготовил для них Павел Иванович, все увидят — и Евдокия Андреевна в особенности, — что не так он прост, этот Павел Иванович Казанцев, хитрая он штука, себе очень на уме он штука. То-то и оно-то: не высокомерничайте, не воротите нос, не дуйте небрежно на человека, словно он соринка ненужная, а ну, как не только вы, но и он штучкой хитрой окажется, крепким орешком, что не разгрызть, не раску-

силь, а ну, как оконфузитесь вы с ним да хватите стыда от небрежности своей, что тогда, спросить осмелимся. Вот и малый человечиска, и все небрит он, и пиджачок на нем кургузый, и мозгляк он распоследний, ты вот дунь на него — он улетит, ты плюнь и растопчи — дыма не останется; а ну, как выкинет он хитрое коленце, вензелек невиданный выпишет, сюрприз какой преподнесет — и что тогда? — ахнешь, в жар бросишься, стыдом изойдешь. А потому что покуда жив он, человечиска этот ледащий, не высокомерничай, не чихай, не дуй на него презрительно. Что от тебя останется? Стыд. Вот какие вензеля получаются. Вот какие подарочки подносил себе Павел Иванович, сидя на табуретке в своем сарае.

Сейчас освободил он себя от труда каждоминутного, и обиды прошлые замельтешили в нем, даже и гордость голову захмелила: ох, и сам не заносись, ох-то и сам не услаждай себя гордыней, горьким песком, горькой полынью.

Потом он вытянулся на старой узкой кровати, лег поверх одеяла, даже башмаков не снимая, и, чувствуя легкость собственного тела, понимал, что сегодня ему никак то есть заснуть не удастся. Да и кто же в состоянии спать перед своей победой, перед главным торжеством жизни, это уж твердейший человечисе, без крови и нервов, не нам это пара, пожалуй что, будет.

В распахнутую дверь сарая видна была желтая стена дома Павла Ивановича, и на ней мерно погасало солнце — вон ярко-красное, вон розовое, а вон и вовсе блеклое, слабый осколок, угадок один, и сумерки, покруживаясь, стали плавно спускаться с неба, все ниже, ниже, однако земля, что ли, отталкивала их своей упругостью, и они прибиты к земле не

посмели, так и повисли, по-прежнему покруживаясь в нескольких метрах над землей.

Уж последняя маета стихать стала, будь здорова, Клава, хорошо, хоть суббота завтра, белье стирать не перестирать, Сашка, ты — грязная рубашка, домой топай да палец из носу вынь — инвалидом будешь, белые ночи — света экономия: как зима, так пять шестьдесят по счетчику, как лето, так два сорок, мой, вот беда, рыбачить собрался, опять не выплюсь — в три часа подъем, им-то что: сказывай дружку сказку, а женам хлопот по завязку, эх-ха, потягушеньки, тепло вот, пожаров бы не было, вот-та, вот-та, дремота, сон, души улада.

Павел Иванович улыбнулся, предчувствуя сладость завтрашнего дня, набрался сил, сел и, чтоб ничем уж не тревожить себя до завтрашнего дня, сбросил башмаки и, снова вытянувшись, приготовился к тягучей мягкой дремоте.

8

Рядом с сараями стоял двухэтажный деревянный дом, и в нем ворочалась и тоже не могла заснуть Ефросинья Степановна Ушакова.

Лет ей было не то под шестьдесят, не то за шестьдесят, потому что пенсию получает она не первый год, а вот сколько точно — пятьдесят ли девять или шестьдесят один, этого никто не знал. Не знала этого и Ефросинья Степановна, а если знала когда, то забыла, а если не забыла, то не вспоминала никогда — вот это точно. А потому что она была не то чтоб сказать слишком грамотна, а вернее всего, ей было все равно — руки-ноги целы, зубы некоторые сохра-

нились и могут что-либо жевать, котелок, голова то есть, кое-что кумекает, так и никакой такой разницы в годах не получается.

Как бы выходило, что она и вовсе без возраста: носит то ж платье, что и двадцать лет назад, и те ж матерчатые туфли, ту же еду и питье она потребляет, тело ее давненько расплылось, и формы его определить так же трудно, как и, положим, двадцать и тридцать лет назад; рыжеватые густые волосы не причесаны, и если в них что-либо беловатое заметишь, то это никак не седина — седины не было — это либо перо от подушки, либо какая соломина, ветром занесенная; и так же кривовата на левый глаз, и это, может, бельмеццо малое — словно б легкое прозрачное облачко.

Словом, Фрося и Фрося, она рада, да и все привыкли, да и силы на ее имени сохраняешь.

Когда кому-либо случалось разговаривать с Фросей, то замечал он, что поначалу она тушуетя, затем делает над собой усилие, чтобы запустить шестеренки в голове, и все кажется, шестеренки эти скрипят и буксуют, и ну как тяжело им вертеться и цепляться друг за друга, и уж терпение теряешь и клянешь себя за то, что обратился к ней, а она, как ее, это самое, то ли дело, верно ль — скверно ль, того... этого, как бы это вернее, хм... хм... ох-хо-хо, как бы сказать — словом, проскрипят шестеренки, пробуксуют, а вот-то кто с них ржавчину пособиет, ход им даст верный, и ну полетело, ну понеслось, да все верно, да все гладко, и уж удивляешься — эк раззудилось, эк разлетелось, уж и не помнишь, с чем и подходил к Фросе, да и она сама не помнит, лишь удивленно и радостно глазами хлопает — вот как летит, кто ж ее остановит, да никто ее останавливать и не собирался, потому что оста-

новить ее невозможно, пока шестеренки не притомятся и не остановятся сами.

До войны выйти замуж она не сумела, хотя и старалась — да кто ж это не хочет, не старается, — однако окружающих самостоятельных мужчин что-то отталкивало от нее: или то, что она не шибко учена, или легкое облачко на глазу, или рваный ход ее мыслей — то ржавый скрип на всю округу, то бешеный галоп, водопад, который подомнет тебя со слабыми твоими косточками; словом, до войны семьей не обзавелась, во время войны хоть и была все по госпиталям, но главные заботы людей были не до бракосочетаний, и когда уже в сорок шестом вышла замуж за престарелого портного Акима Антоновича, то ведь как радешенька была.

И, надо заметить, было отчего радоваться — Аким Антонович был лучшим портным в округе. Тут ведь хоть какие ни тяжелые времена, всегда найдутся люди, желающие шить костюм у лучшего портного. К нему приезжали люди из города, за много километров. А как он любил это дело: вот присматривается, прицеливается к человеку, вот уж и носом в него тыкается, чтоб обнюхать получше, вот и руками общупает его, чтоб тело себе получше представить, а потом сядут друг против друга в этой темноватой пятнадцатиметровке и знай обсуждают, каким костюм должен быть, — прямо тебе академик Аким Антонович.

А выходит на улицу Аким Антонович, и на нем костюмчик белый, да рубашечка с манжетами, да бабочка в синий горошек, и курлычет Аким Антонович любимые песенки, а Фрося при нем слугой верной, пыль бы с него сдувала, ноги бы мыла, пожелай он, и в минуты доброты желал, и что же — мыла, и со счастьем даже полным, — и она с ним рядом в платье

крепдешиновом с плечиками раздутыми, а все кажется, что затемняет белый его костюм, пятнышком темным чувствует себя на солнечном чужом празднике.

А еще Аким Антонович отдыхать любил, и тут он был охоч до музыки серьезной — горы у него были пластинок: все Утесов, да Лещенко, да Козин. И вот солнечным ли вечером, воскресным ли утром любил Аким Антонович выставить в окно белый блестящий «горшок» и музыкой затопить притихший в ожидании праздника двор. А ну-ка тебе — «Татьяна, помнишь дни золотые», а вот-то «Студенточка, заря вечерняя», а послушай «В дальний путь на долгие года».

И собирались вечерами белыми и, вздымая пыль, танцы устраивали, Аким же Антонович именинником в распахнутое окно выглядывал, и сиял он тогда, словно бы сдобный праздничный пирог.

Так-то все бы и хорошо, да только возраст тоже требовал свое обозначить, словом сказать, хватил однажды Акима Антоновича удар. А как выхаживала Фрося Акима Антоновича, уж ходить не мог, так она выкатывала его да радешенька была, что позволяет он ей за его спиной стоять и коляску толкать к парку. Ухоженный какой, гладенький, в белом же костюмчике, вымытый, что вымытый — вылизанный! — только, беда, не говорил — больше мычал, а ткнет пальцем в нужную пластинку, и Фрося заведет ее, и вот как нужна она, Фрося, даже необходима...

А как не стало Акима Антоновича, солнце малость того... заметить, как это, ну что ли... малость потускнело, все-то верчение одно сквозное выходит — все работа да дом, а дома одна и никому ни для чего. Конечно, на работе она тоже — все уход да заботу дай, так-то оно так, да не совсем чтобы этак верно. Полежал бедолажка — и тю-тю, нет его, где ж он?

А надо бы, чтобы свой, хоть без речи, рук,— а мой, и только мой, да его вытереть так вытереть, помыть ли так помыть, да постирать ему, да щец ли, что ли, наварить — вот то, к чему сердце колотится, вот к чему руки рвутся, а ты позови, позови с собой человека, хоть бы и по дороге пыльной, хоть бы и в колдобинах, так ведь щенком послушным пошла бы да еще и хвостиком помахивала. Много ль надо от тебя — малость, самую малость,— прими лишь заботу, дай только покормить тебя да бельецо, что ли, помыть. Но ни у кого, верно, потребности в таких малостях не было, и вот для себя-то одной только и приходилось вертеться.

Но тут, лет-то сколько из рук выпустив, счастье неожиданно подвалило: однажды увидела Фрося в яме с песком семилетнюю девочку Таню, дочь Константина Андреевича, нет осмелки Костей назвать, да замухранный она какая, руки и ноги потрескались, да не в коросте ль, дудочка, скворушка, барабанчик, ма-тушка ее недавно растаяла — и сердце поплыло, что ли сказать, воском и затопило всю грудь ее расплавленной тяжелой жалостью, и Фрося взяла мотылька этого за руку и велела свести домой, а там в углу под креслом грязные вещицы мотылька этого лежали, и Фрося связала в узел и унесла их к себе, чтобы на следующий день принести чистыми.

И когда Фрося была свободна от дежурств, она присматривала за Таней, обстирывала ее, купала — да ты не бойся, веточка, я тебя сама огляжу, мыло в глаза ни-ни, ни в каком таком случае в глаза не проникнет, смирно сиди да кожей влажной гладкой посверкивай, ах ты свистулька малолетняя! А на дежурстве вдруг вспомнит своего мотылька, и сердце вдруг поплывет, и станет ему веселей, и уж торопит

часы, чтобы скорее домой прийти,— да всякая ли мать так по дитятке своему скучает: нужна вот как она пташке этой, жизнь Фросина отлетная тем и заполнится теперь — любовью и жалостью к Танечке.

И вроде бы тайно делала, как бы все концы в воду, да чтоб Константина Андреевича не спугнуть, чтоб не подорвал он с места, не унес Таню от Фросиных забот.

Да вроде бы не подрывал, напротив того, здоровался приветливо, и хоть говорил — мол, что это ты, Фрося, сама не богачка и дел своих хватает, на что и был ответ: а наши денежки, как и наше времечко, все при нас, и не считайте их, как и мы ваше считать не приучены.

О денежках речь вот почему могла зайти: Фрося надумала Тане подарки делать, ну так это пройти по магазинам да присмотреть лепестку своему маечку ли, куклу, ботиночки ли, и вот не было большей радости купить что-либо такое да на Танечку примерить, на шажок-другой отойти и глазом попристреливаться,— и в точку попала, голубенькое платьице вот как ей идет, так и носи на здоровье, бери и не отталкивай и в памяти ничего не зарубай, так что когда Константин Андреевич затевал разговор о денежках, даже и настаивал, то Фросино лицо начинало подергиваться, губы сворачивались калачиком, и она начинала всплакивать, и Константин Андреевич на время понимал, что ему следует примолкнуть.

А соседи, сказать надо, посмеивались над Фросей — ай да Фрося, голова дырявая, рот не разевай да на чужой каравай, квас-то хороший, купите вместе, пить станете врозь, словом говоря — не мылся, бриться не придется, и лучше уж сразу отстань,

денежки оставив при себе, так они, глядишь, и целее будут.

А нет, ничего не урезонивало ее, так привязалась к Тане, что не трогайте вы меня, в покое, что ли сказать, оставьте.

День ли рождения Тани, праздник ли какой, а Фрося всегда найдет время, чтобы никого рядом не было и чтоб глаз чужих не мозолить, и так это отдаст подарок, словно б он руки жжет, и скоренько уйдет к дому поближе.

А Константин Андреевич смирился — да что он сделать мог с постоянным упорством Фроси?

Отставать начала Фрося лет, что ли, пять назад, когда Таня школу кончила и начала ездить в город учиться, тут уж Фрося и не решилась собой людям глаза засорять. Отошла она от Тани, однако душой не отсыхала никогда.

И вот теперь при заходе солнца Фрося ворочалась на кровати в тревоге — она знала, что завтра ее дочка, барабанчик выходит замуж, и была в сомнении — пригласят ли ее на свадьбу?

Конечно, яснее ясного, что не пригласят, потому что гости затылки станут чесать озабоченно, кто это пришел, здравствуйте, кому это охота вспоминать дела давние. Значит, не позовут. Потому что если бы хотели позвать, то пригласили бы заранее, чтоб, как это сказать... человек успел подарок приготовить. И понимать поэтому приходилось, что ее, Фросю то есть, на свадьбу не пригласят.

И это напрасно. Вот если бы пригласили, то Фрося передала Тане кое-какой подарок, а сама стала бы сидеть тихо, как муха перед зимним засыпанием, никого собой не озаботив. Конечно, можно подарок и перед свадьбой передать, но это получится, что

Фрося вроде бы, это самое, в гости набивается. Можно будет и после свадьбы передать, но это у Тани может неловкость выйти и одно долгое смущение — вроде упрека, что Фросю не пригласили. Упрекать же Фросе никого не хотелось.

А вот на свадьбу сходить прямо-таки зудилось. Не то чтоб ей какая благодарность нужна, да нет же, себе оставьте благодарность, не в ней дело, но это все же правильно, что память тоже не должна быть короче воробьиного носа. Словом, чтобы кашу по тарелке не размазывать, сказать следует, что не сходить на свадьбу Фросе было бы обидно.

Тут была еще одна причина. Все дело во Фросиных соседях. В квартире — вспомнить надо — три семьи: дочь и мать Дуденки, старики Чистотеловы и Фрося. Три семьи и три семьи — у каждого по комнате, большой коридор, кухня, ванна под картошку и уборная — все как и быть положено. Это что — живут вместе и не три семьи, а куда поболее, и живут сносно, не то чтоб водой не разлить, это шуточки, но, однако, снова сказать, сносно. А тут тридцать лет вместе, никто не прибавляется, да, чтоб не сглазить, и не убавляется, а все никак не поселить спокойствие в квартире.

Первое дело — свет. За свою комнату каждый платит — это само собой. А вот за коридор платит одна семья, за кухню другая, за ванную и уборную третья.

Уж и так и этак просчитывали, но просчитать правильно так и не сумели. Потому что хоть и в копейках разница, но дело-то не в копейках (хотя они тоже, сказать надо, на улице так это свободно не валяются), дело в полной справедливости. Однако свет — это полдела. Тут бы еще поладили. А вот с мытьем

квартиры и лестницы уладить по-мирному просто-таки невозможно. Потому что Фрося предлагает справедливость полную: мыть по очереди, это все так, но не по количеству семей, а по количеству жильцов в квартире. Тогда бы ей пришлось убирать не через три субботы, а только через пять. Дело вроде привычное и нетрудное — лестницу прошкворить, но где же тут, спросить осмелимся, правильность и полная справедливость? Их нет, получается, и вот с этим Фрося смириться никак не могла.

Потому-то и скандалили в квартире, потому-то и посмеивались все над Фросей, что она к Михалевым вяжется, потому-то Таню называли не иначе как «твоя принцесса».

И сейчас перед свадьбой своего мотылька Фрося чувствовала, как притихла квартира в ожидании. Соседи, дело понятное, знали про свадьбу, но, сами не приглашенные, ждали злорадно времени, когда им вдоволь, вздохнув можно будет попереламывать Фросю своими насмешками. И главное — силушек у них надолго теперь хватит, еще бы: ты-то песиком вертелась перед ними — ай да принцесса, ай да королева, — черноземом была ты, Фрося, черноземом и останешься. В какие наряды ни рядись, а дальше порога никто тебя не пустит.

Ох, боже мой, как хотелось ей надеть прежнее праздничное платье и бросить им победный взгляд, так это сказать: вы смеялись, а вот гляньте, какая я ссть в празднике. И все! И победа. Главная, можно сказать, в жизни победа. До дней окончательных победа.

И сейчас Фрося ворочалась на скрипучей своей кровати, и постанывала кровать, как и Фрося, и покрикивала Фрося, хакала, поойкивала, тревожно

ожидая завтрашнего дня. Все ли пройдет ладно, весело ли будет сиять невестушка?

Все будет сиять, бело, солнечно, и веселы будут гости, да вот ведь — никто не вспомнит о Фросе, ну а ты-то, в платье белом, в фате длинной, в день счастья своего, лепесток, хворостинка, белочка, вспомнишь ли, ангел-душенька, вспомнишь ли ты о Фросе?

9

Раиса Григорьевна была точна — ровно в девять часов она вышла из автобуса.

По высокой лестнице они поднялись на гору, свернули к бывшему конногвардейскому манежу и пошли по тихой улице. Казанцев все время пытался решить, помнит ли Раиса Григорьевна, что он когда-то отчаянно был влюблен в Лену Максимову.

Совместное обучение ввели, когда Казанцев пошел в девятый класс. Тогда он впервые увидел Лену: в коричневом платье и черном фартуке, она была непоседлива, худая спина ее гибка, светло-вишневые глаза насмешливы, движения угловаты и порывисты.

Весь девятый класс они как бы не замечали друг друга. Но вот замаячила вдали последняя школьная весна. Они сидели в кинотеатре, в бывшей кирхе. Тогда бесконечно шли детективные фильмы. Вот — «В сетях шпионажа». Казанцев смотрит на экран, но ничего не понимает, потому что все его внимание поглощено пальцами Лены, вся воля его в концах пальцев влажной от страха руки, пальцы ноют, они то ползут вперед, то снова отступают, боковым зрением Казанцев видит, что Лена тоже напряжена, и в тот момент,

когда герой всадил очередь в героиню, так лихо выстукивающую секретные сведения, Казанцев коснулся пальцев Лены, и пальцы ее вздрогнули, влажные худые пальцы с истонченными подушечками, и на мгновение стали безжизненными, но вот и ответное сжатие, и пляска пошла, борьба пальцев, нетерпеливая, до боли, до хруста в суставчиках борьба,—какая победа, какая сладкая победа.

К выпускным экзаменам они готовились вместе. Перед физикой сидели поздно, и Казанцев пошел проводить Лену. Были серые густые сумерки, душные и влажные перед первой июньской жарой. Во дворе никого не было.

Казанцев захотел показать Лене модель планера, которую он делал год назад, и отпер сарай.

Она стояла в дверях. Срывающимся дрожащим голосом он позвал ее, но она покачала головой. Тогда он потянул ее за руку; спотыкаясь, она вошла в глубь сарая, и дверь затворилась. Он наклонился, разыскивая модель, боком случайно толкнул Лену, и она села на стол, чтоб не мешать Казанцеву. В голове был туман, сердце колотилось, в темноте он видел худые острые коленки и бледное напряженное лицо, слабый свет сумерек пробивался сквозь щели сарая, падал на лицо Лены, и левый глаз ее, обращенный к свету, ярко сиял.

— Ну, так где же? Наврал? — нетерпеливо спрашивала она.

— Сейчас, сейчас,—говорил он, а она сидела на столе и болтала худыми ногами, и тогда он, резко выпрямившись, сказал отчаянно: «Нет, никак не найти», встал перед ней и провел влажной рукой по ее долгой шее. Запрокинув бледное лицо, она опиралась на руки. Наклонившись, пересохшими губами он

ткнулся в ее щеку, стоять было неудобно, и Казанцев хотел рукой опереться о стол, и рука его коснулась острого ее колена и замерла на нем, он ощущал под рукой сухую теплую кожу ее бедра, такую тонкую, что под ней чувствовалась пульсация крови. Она сжала его ладонь коленями и отпустила и снова сжала, и тогда он, чтобы освободить ее руки от тяжести тела, убрал их — удар судьбы, единственное мгновение, звезда в тумане — не в силах справиться с тяжестью ее и своего тела, поддерживая за спину, он опустил ее на стол и медленно, оцепенело падал куда-то вниз вместе с ее телом, почти уже неотделимый от нее — и вдруг в гул толчков собственной крови вошел грохот, обвал — и чертыхание, громовая ругань, позор и грязь сердца, и Казанцев понял, что в сарае рядом соседка Фрося искала бидон для керосина и, потянувшись за ним, задела поленицу дров, все рухнуло, и по дровам загрохотал бидон. Стыд, не испытый до конца, жжет всего сильнее; малость ли какая — скрежет ржавого засова, падающий бидон — прочерки в судьбе, время, униженное бытом; наконец, насмешка судьбы — его мать, наполняющая керосином бидоны жителей города, не наполнила бидон соседки Фроси.

Потом они учились в одном городе — она в библиотечном институте, он в кораблестроительном, но не встречались: либо не было потребности встречаться, либо мешала тайна стыда. А всего-то вернее, просто — напросто кончилась юность.

Сейчас Казанцев жалел, что согласился навестить Лену. Он давно забыл о той юной влюбленности и только сейчас, подходя к Лениному дому, чувствовал волнение, вернее, это было не волнение даже, но боязнь попасть в двусмысленное положение.

— Мы ведь не будем долго сидеть? — спросил он.

— Мы будем сидеть ровно столько, сколько нужно, Володя.

— Не звали ведь. Вроде навязываемся.

— Мы уйдем за минуту до того, как Лена почувствует, что мы ей надоели.

— Вам следовало учить меня не английскому языку, а хорошим манерам.

— Я и учила тебя хорошим манерам, но, верно, я никудышный учитель.

Они поднялись во второй этаж. Раиса Григорьевна нажала кнопку звонка.

В дверях стояла молодая женщина.

— Это мы, Леночка, — сказала улыбаясь Раиса Григорьевна. Они даже расцеловались, вернее, прижались щеками. — В дом нас пустишь?

— Ой, Раиса Григорьевна, проходите. Здравствуй, Володя, — очень просто поздоровалась она.

Он не узнал в этой полной женщине худенькую шуструю десятиклассницу Лену Максимову. Ноги ее потяжелели, она как бы осела, лицо округлилось, и исчезла подвижность его, отчего оно казалось застывшим, каштановые волосы она перекрасила в белый цвет. Это была чужая незнакомая женщина, и, когда она отворила дверь, Казанцев подумал, что они ошиблись квартирой, но потом мелькнуло в лице что-то знакомое, расплывчатое, как выплывают знакомые черты при проявлении фотопленки, может быть, это старшая сестра их прежней Леночки, и лишь глаза — вишневые глаза, но только не светло-вишневые, а уж потемневшие от времени, — были глазами Лены. Таких глаз ни у кого больше не могло быть. Это, конечно, она.

— Здравствуй, Лена.

— Проходите, пожалуйста.

Лена повела их в комнату. Шла она устало, тяжело. Чувствуя на себе взгляд Казанцева, она поправила волосы на затылке. Казанцев понимал, что его приход стесняет ее. А сам он не в том добродушном состоянии, чтоб удачной шуткой, находчивостью снять неловкость.

— Угощай гостей, Леночка,— сказала Раиса Григорьевна.— Вот торт с орехами. Будем чаевничать.

— Как ваша Галочка? — спросила Лена. Казанцев понял, что она уже смирилась с их приходом.

— Неплохо. Даже хорошо. Она ведь в прошлом году педагогический институт закончила,— сказала Раиса Григорьевна Казанцеву. Следовало понимать, что Лена это знает.— Работой довольна. Я хотела взять ее к себе в школу, чтоб ей полегче было. Но она отказалась. Хорошо хоть уговорила не уезжать далеко. Она в Успенском, иногда приезжает на воскресенье, и то спасибо. Я, по правде говоря, не верила в ее педагогические способности. Но вот же — ей нравится в школе.

Казанцев понимал, что Раиса Григорьевна, всю жизнь занятая детьми, не привыкла, что кто-то интересуется ее собственными делами, и сейчас рассказывала о дочери лишь для того, чтоб они, ее бывшие ученики, много лет не видевшие друг друга и не называющие друг друга на вы лишь потому, что неловко перед ней, привыкли, присмотрелись друг к другу.

— А где она сейчас? — спросила Лена.

— Взяла свой класс — у нее пятый — и поехала по Волге, по местам боевой славы. Прислала открытку из Волгограда. Я как-то приехала к ней в Успенское и удивилась: ее пятиклассники так и вьются возле нее, вроде бы души в ней не чают. А сама-то еще

девчонка, год в школе. Я даже позавидовала грешным делом — возле меня всю жизнь были ученики, но вот особого обожания я, честно говоря, не замечала.

— Нет, наш класс любил вас, Раиса Григорьевна,— сказала Лена, она словно бы вновь почувствовала себя школьницей и по-детски встряхнула головой и улыбнулась. И чудо из чудес — улыбка смыла печаль и слой за слоем начала снимать отложения прошедшего времени, вот разгладились и морщины у углов рта и на лбу, лицо стало незаметно как-то худеть и вытягиваться, исчезла тяжесть подбородка, и жизнь Лены в несколько мгновений прошла перед глазами Казанцева, но только в обратном течении: вот неподвижная маска печали, вот радость и даже счастье, вот ожидание этой радости и счастья — вот, вот она, прежняя Леночка Максимова, порывистая и угловатая.

В ответ на ее улыбку Казанцев тоже улыбнулся, ему стало легче и веселее оттого, что он узнал прежнюю Лену, и он понимал, что и она видит его жизнь в обратном течении.

И только лицо Раисы Григорьевны не было подточено временем — окруженная всю жизнь юными надеждами, она одна из всех не знала разочарований прошедшей юности, одна из всех была всегда юна.

Потом они пили чай и, уже полностью привыкнув к вернувшейся на короткое время юности, рассказывали Казанцеву новости о жизни одноклассников: Слава Лушин получил двухкомнатную квартиру, Юра Мельник, он в Киеве живет, защитил диссертацию, Владик Аверин стал самодовольным чиновником и не узнает своих, а Веня Смелкин инфаркт перенес, кто бы мог подумать — Веня, сильный, быстрый, был капитаном городской футбольной команды — да, ко-

Нечно, какие мы уже немолодые, если так-то разобратся, какие немолодые. И, странное дело, они считали Раису Григорьевну одноклассницей, забывая, что потери переносятся ею гораздо тяжелее, потому хотя бы, что их у нее много больше, что кроме их выпуска у нее было еще одиннадцать.

— Ну, что же, дети мои,— сказала Раиса Григорьевна,— почаевничали, пора и честь знать. Проводите меня до автобуса. А потом, Леночка, Володя проводит тебя — нам с ним в разные стороны. Володя, не забудь проводить Лену.

— Не забуду.

— Братцы, чуть не забыла. Есть возможность встретиться и завтра.

— Это хорошо бы,— сказал Казанцев.

— Моя ученица, бывшая, конечно, завтра замуж выходит. Постой, Володя, да это же в твоём дворе. У тебя шестнадцатый дом? А у нее четырнадцатый. Танечка Михалева. Знаешь ли ты о свадьбе?

— Не только знаю, но даже зван. Хотя невесту ни разу не видел.

— И ты пойдешь?

— А как Лена?

— Ну, Лену я возьму на себя.

— Тогда вопросы излишни. Как же я без Лены,— пошутил Казанцев.

— Ну как, Лена? — спросила Раиса Григорьевна.

— Да я не знаю никого. Чужая свадьба. Неловко как-то.

— Раз я зову, значит, ловко,— рассердилась Раиса Григорьевна.— Иначе не звала бы. Да ты и знаешь всех. Если не всех, то половину наверняка. У тебя же работа такая. Ты как и прежде, в городской библиотеке?

— Да. Все там.

— А почему я тебя не видела? Несколько раз заходила, а тебя нет.

— Я теперь в другом отделе.

— Как это?

— Очень просто. Раньше я заведовала отделом обслуживания, ну, это абонемент, читальный зал, а теперь перешла в отдел комплектования. Это вам скучно, Раиса Григорьевна.

— Нет, мне не скучно. А почему ты перешла?

— Устала.

— От кого это устала? — не поняла Раиса Григорьевна. — От читателей?

— Да, от читателей. Именно от читателей.

— Но это же твоя работа, Лена.

— Значит, я устала от работы.

— И надолго ты ушла?

— Не знаю. Там видно будет.

— Не надо бы тебе совсем уходить, — попросила Раиса Григорьевна.

— Комплектование — это тоже библиотечное дело.

— Конечно. И все-таки. Так я в половине четвертого зайду за тобой, хорошо? Начало в четыре.

— Хорошо, — согласилась Лена.

Они проводили Раису Григорьевну до автобусной станции. Видно было, как в залив опускается багровое солнце. Завтра ожидался жаркий день. Солнце проглатывалось заливом медленно, мягко, словно проваливалось не в воду, но в вату.

Когда подошел автобус, Раиса Григорьевна молодого вспрыгнула на подножку. Народу было мало, автобус не спешил, Раиса Григорьевна махала рукой.

— Спасибо, Раиса Григорьевна.

— Ну, ну, Лена, будет.

— Нет, правда, спасибо.

— Володя, скажи Лене, чтоб не сердила свою старую училку. До завтра, ребята. — И автобус тронулся.

Шли медленно, молча. Когда поднялись на гору, виден стал от края до края залив. Солнце почти полностью утонуло в заливе, виден был лишь малый кровавый его сегмент, вода потемнела, воздух был прозрачен, и слабой полосой виднелся противоположный берег залива, из воды, скрадывая пространства, росла белостенная крепость, и тугой медью отливал купол ее собора, справа виднелись форты — форт Святого Михаила, и Августовский, и Безымянный, — время белых ночей укорачивало пространства, сводя их к ломаной рваной линии, медленно двигался, почти застыв на рейде, большой корабль, и блеклыми всплесками предупреждал моряков об опасностях самый большой на побережье Краснухин Маяк.

Они пошли дальше молча, но и не мешая друг другу молчанием. Оставалась неделя до самого длинного летнего дня, и белые ночи близки были к своему накалу. Слабой желтизной был подпален край неба на западе, деревья, утомленные спелым дневным зноем, медленно остывали от жаркого сока и были неподвижны, все было тихо, и всякий скрежет машины, торопливый неожиданный говор, скорый гулкий шаг пугал, настораживал, предупреждал о возможности новых утрат и потерь.

— Я отвык от белых ночей. Когда-нибудь будет доказано, что белые ночи — явление недоброе, вредное человеческим нервам, — сказал Казанцев.

— Мама была еще девочкой, когда родители привезли ее в Фонарево. Они переехали с юга со всем

скарбом. Так она рассказывала, что курица и петух бились в клетке и сошли с ума — не могли понять, почему нет ночи. Потом деду объяснили, что клетку на ночь нужно было закрывать тряпками. Как ты живешь, Володя? — вдруг спросила она.

— Плохо.

— А я думала, что ты процветаешь.

— Нет, я не процветаю.

Он видел, что она верит ему и даже не огорчена, что ему хуже, чем она ожидала, — в ней было сознание, что тогда он поймет ее. Так устроен человек — уже потом он пожалеет другого человека, но в момент узнавания чужих бед все-таки радуется — есть родственная ему душа.

— То-то я смотрю, что ты невесел.

— Мне не с чего веселиться. Ты ведь тоже невесело живешь?

— Невесело, — призналась Лена.

Они шли по засыпающему городу, и Казанцеву казалось, что все это уже было с ним, он шел по засыпающему городу, с ним рядом была Лена и тоже подступала белая ночь, они прошли мимо нового квартала, справа остался парк, они шли и молчали, на Лене было легкое синее платье и белая синтетическая кофточка, светлые волосы ее были коротко острижены, однако он понимал, что прежде с ним этого быть не могло, потому что он впервые видит Лену коротко остриженной и впервые видит новый квартал — раньше здесь был пустырь, и даже больше того — сейчас Казанцев знал не только то, что с ним происходит или происходило, но твердо знал, что произойдет дальше. Он спросит у Лены, не устала ли она, Лена удивленно посмотрит на него и ответит, что нет, она не устала, вот, может, он устал, он не отве-

тит, но лишь покачает головой, потом они остановятся у ее дома и он, чтоб пожалеть ее, погладит ладонью ее щеку, дальше же Казанцеву было скучно знать, нет, дальше она спросит, так отчего же ему плохо.

Сумерки начали густеть, пропала желтая подпалина на западе, над лесом чуть различимым стал молочный размытый серп месяца.

— Ты не устала? — спросил Казанцев.

Она удивленно посмотрела на него.

— Нет. Может, ты устал?

В ответ он покачал головой — не устал.

Глаза ее были темными, вовсе черными, и печаль их растворилась на время в сумерках белой ночи. Казанцев медленно, как крадучись, поднял руку и, чтоб пожалеть Лену, осторожно ладонью провел по ее щеке. В движении этом не было желания вернуть прежнее мгновение, он хотел только пожалеть ее, а она склонила голову к плечу и щекой и плечом удержала его ладонь — это лишь ответ на доверие друга — такая малость.

— Так почему тебе плохо? — спросила она.

Он рассказал ей о своей жизни, не жалуясь, но и не щадя себя, и знал, вернее, уверен был, что вот этому человеку интересна его жизнь, этот человек поймет его полностью и не осудит. Откуда вера такая? Ведь он совсем не знает ее. Чужие, в сущности, люди. Но вера такая есть, и этого достаточно.

Потом, когда он закончил рассказывать о себе, она ерошила его волосы и приговаривала:

— Бедные мы, бедные. Не взлет нам, а, Володя?

— Есть немного, — согласился он.

Казанцев вошел в коридор. Из кухни падал слабый свет. Мать не спала.

— Тепа, ты? — окликнула она его.

— Я.

— Молоко в холодильнике. Не забудь выпить.

— Хорошо, мама. Спи.

Евдокия Андреевна вышла на кухню. Она была в длинной ночной рубашке.

— Я тебе на диване постелила. Небось отвык от дивана. Укроешься простым одеялом. А если под утро станет прохладно, то возьмешь ватное одеяло. Оно на стуле.

— Ладно, мама, я все сделаю. Ты спи.— Ему очень хотелось побыть одному.

— У Раисы Григорьевны был?

— Был.

— И как она?

— Все в порядке. А где отец?

— Говорила же тебе — он в сарае днюет и ночует. Твоя мать, Вовчик, никогда не ошибается. Ее обмануть можно, это пожалуй, но сама она никого не обманет. Папаша, батя твой, так скажем, вещь свою караулит. Он надеется, что она, вещичка его, кому-нибудь кроме него приглянуться может. Вот и караулит. Вот еще что. Он завтра вещь свою передавать будет. Он тебе ее показывал?

— Нет. А ты видела?

— В том-то и дело. Подглядела однажды твоя мать, когда папаша отсутствовал. Вот и получается, что это не часы вовсе, а ящик простой. Ну, стрелки, конечно, есть, но только для украшения, а так ящик и ящик. Так ты, это самое, папашу пожалей. Ты уж не будь слишком смелым с ним. Он ведь, тоже сказать, не такой уже вовсе молодой. Это поймей в виду.

— Хорошо, мама. Часы его мне понравятся.

— То-то и оно. Как говорится, смех смехом, а ли-
са покрыта мехом, все будут смеяться, а уж нам при-
дется смех проглотить. Вот я тебя и ждала. День,
видишь, какой ожидается, поехала-махала. Боится
твоя мамаша за своего перестарка. Как бы чего не
выкинул.

— Все будет хорошо, мама.

— Вот и ладушки,— и она ушла спать.

Казанцев хотел остаться один, и вот он один: сто-
ял, облокотясь о подоконник, все было тихо, лишь за
домом, прочищая пары, коротко гукал паровоз, и гу-
канье это свободно и легко преодолевало сопротивле-
ние всякой частицы прозрачного и сонного воздуха.

Казанцев чувствовал, что с ним что-то случилось
не сейчас вот, когда он стоит у окна, но случилось
раньше, только точного мгновения он указать не
может.

Так в середине марта идешь по улице и внезапно
понимаешь, что наступила весна. Ничего не произо-
шло, то же солнце, то же небо, а безошибочно понима-
ешь, что весна наступила. Всякий год говоришь себе:
вот в этом году я непременно ухвачу момент этого
перехода, миг, когда зима в весну переломится, но
все никак не ухватить это счастливое мгновение, все
опаздываешь.

Вот и сейчас Казанцев не мог точно сказать, что
и когда с ним произошло, но только было ему сейчас
непривычно молодо и весело.

Казалось бы, ничего за день не случилось: провел
день в своей семье, повидался с учительницей и
другом детства. Да что ж такое может ожидать его
завтра? Да тоже ничего. Отец передаст невесте по-
дарок, люди посмеются, потом повеселятся за столом,

Казанцев весь вечер будет с Райсой Григорьевной и Леной — что особенного? Чему радоваться? Да, нечему, казалось бы, но вот надломилось что-то в печали Казанцева, и он ждал нетерпеливо завтрашний день.

И то сказать, если человек радостно ожидает прихода нового дня, то жизнь его проигранной еще не назовешь, это уж недалеко и до верной надежды, что не только все окружающие люди, но и он сам, малое, слабейшее, наконец, существо, имеет не только смелость, но и право на блаженное то состояние, когда всякий миг оценивается как подарок, как некий только тебе одному внятный знак, когда ключ совершит положенный оборот, и все тогда будет внове, чистый без темных знаков лист, без неразборчивой подписи и неясной печати, чудо, которому положено свершиться, непременно свершится, да так, что и чудом не покажется, вроде бы так и быть должно, туман рассеялся, слезы просохли, утраты более никого не коснутся — надежда на всеобщее счастье и на счастье собственное — вот имя этому блаженному состоянию.

Потом Казанцев лег на диван и, заведя руки за голову, долго лежал неподвижно.

Ворочалась на своей кровати Евдокия Андреевна — он вспугнул ее сон, вот беда, сам же Казанцев смотрел, как скользят по потолку блики раннего солнца. Что-то принесет ему новый день?

10

В три часа быстролетная туча захлопнула город, пронеслась скорым спелым дождем, полетела дальше, оголив яркое синее небо, вымыв для жары налитое солнце. Дождь прибил к земле пыль, вычистил от

жаркой мглы пространства, и дальний берег залива сиял теперь как бы в ровном пламени.

И вот при первом появлении последождового солнца на асфальте перед двором остановились машины. Первая самая — черная, сверкающая — гладиолусами увита, они и к ручкам, и посреди у фар прикреплены, а на крыше кабины два сплетенных кольца сияют, и к кольцам тянутся голубые и красные ленты, и летят за машиной белые, красные, голубые шары, и привязана к ветровому стеклу кукла — все намеки, намеки.

И тут заминка некоторая вышла, словно б забыли люди, кому, что и как следует делать, и тут вспомнил новобрачный свое дело, вышел, нет, вылетел из машины, торжественный, негнушийся, в черном костюме; обежав машину, дверцу распахнул и руку протянул туда, в глубь машины, и тут показалась белая рука и белый башмачок, и башмачок этот словно б не решается опуститься на землю, где пыль, и грязь, и окурки, глядите, глядите, да это ж невеста из машины вышла.

А из других машин вышли родственники и гости, а тут двухчасовой сеанс окончился и народ из кинотеатра повалил, тротуар запрудил, — зрелище-то какое! — расступился, пропустив новобрачных, и они поплыли по этому коридору, глядите, глядите на нее, на жену юную, ах, как плывет, земли не касаясь во все, голову чуть вскинула, лицо радостью сияет, но и смущено этой же радостью, а также всеобщим вниманием, да расступитесь же, расступитесь, новобрачная плывет, легким белым облачком скользит, в правой руке белые розы, белое платье сужено у щиколоток, скорому шагу мешает, а ей и не нужно спешить —

плыть нужно, плавно, беззаботно плыть, и прозрачная фата спускается до башмаков и мешает мужу, а он идет при жене черной тенью, поддерживает ее осторожно, чтоб всем до конца видно было, что он лишь так себе, лишь для того, чтоб оттенить облачность, хрупкость ее.

И кто-то из запрудивших тротуар захлопал в ладоши, и захлопали другие зрители, на балконах, выходящих в проход, по которому плыли молодожены, столпились соседи и в ладоши хлопали, он помахал им рукой, она же подняла кверху розы, так будьте здоровы, ребята, а также счастливы, и сердце всякого человека пеленой печали одевается — наши-то года, да нет, не так, да что ты, где нам было, суета да спешка, да где ж и ты, моя молодость, зависть, зависть сердце туманит, а мы-то с тобой, вспомни, да и так сойдет, да на ходу, в загсе отметить и ладушки, по-черному, разница-то какая, а есть, выходит, разница, может, лучше у них времени и не будет, скоро уже, скоро занесет их бытом, обидами, скудо-сердием, кто-либо и у них спросит, да где ж это ваша молодость, где белизна, но это уж потом, а сейчас — посторонитесь, новобрачная плывет, легкая, хрупкая, вот, кажется, растает, испарится сейчас с земли.

Двор перед домом был искалечен канавой, и они прошли по доскам, и она для равновесия отвела руку — ах, этот плавный изгиб руки, полупоклон, дымка белая.

Прохожие отстали, распался людской коридор, с соседних дворов сбегались, улюлюкая, мальчишки, у крыльца толпились гости, кто не смог поехать во Дворец, молодожены подошли к своему крыльцу — как, кажется, быстро проплыли, только сердце залюбова-

лось — и все, обрыв, остановка. Константин Андреевич, хозяин дома, взбежал на крыльцо, нырнул в комнаты, снова вышел и, широко улыбнувшись, сказал:
— Просим, гости дорогие.

11

Павел Иванович стоял в толпе ожидающих, когда приехали молодожены. Все были шумны, веселы, и только Павел Иванович не чувствовал в себе веселья, напротив, в нем было лишь тревожное ожидание. Он чувствовал свою как бы отдельность от других людей, и причина такой отдельности была ему понятна: у всех гостей заботы с покупкой подарков давно позади и они радостно предвкушают день большого веселья, а у него же главные заботы впереди — подарок надо принести сюда, да по такой жаре горлохватской, да еще надо, чтоб подарок был принят, не в том, понятно, смысле, что не примут, тут деваться некуда, примут, но надо, чтоб правильно понят был, оценен, что ли сказать.

И вот маялся Павел Иванович во дворе, клял Евдокию Андреевну, что заставила надеть костюм, а он давний, темно-синий, тяжелый, Павел Иванович ходил среди гостей — а это были парни с работы жениха, ребята крепкие и длинные, — и, низкорослый, тщедушный, томящийся от жары, чувствовал себя здесь человеком, что ли сказать, последним.

Он так это слабо утешал себя тем, что вот ничего еще неизвестно, вышли-то в путь все одновременно, а вот кто первым придет — неясно, большой вопросительный знак, что называется, может как раз статься, что первым придет маленький да удаленький и

время как раз заставит вспомнить слова — мол, мал золотник, да дорог.

Спрятался под аркой в тени — два дома соединялись пролетом метров, что ли, на пятьдесят в глубину, здесь никогда не просыхает сырость, тут и прятался Павел Иванович некоторое время.

Евдокии Андреевны и Вовчика не было с ним, они терпеливо ожидали начала свадьбы у себя дома: двор хорошо виден из окна кухни.

И когда молодожены приехали, Павел Иванович помахал Евдокии Андреевне — мол, пора и к чужому шалашу, и она в ответ кивнула — мол, все усекла, за нас не волнуйтесь, стойте в сторонке и глаза не морщите.

И вскоре она появилась с Вовчиком, расфуфыренная, в синем платье, газовый платочек на шее, в ушах серьги, футы-нуты-ножки-гнуты, а Вовчик тоже солидной штучкой выглядит — костюм на нем синий с металлическими пуговицами да галстук модный, большим узлом повязанный, как у дикторов с телевиденья, эх ты, франт с дудкой, верно привык по гостям шляться, да как достойно идет, верно и барышни иной раз на него глаза пялят.

Павел Иванович пошел им навстречу.

— А подарочек? — спросил он.

— Вот,— показала Евдокия Андреевна на коробочку в руках.

— Платки, что ли, носовые? — поинтересовался Павел Иванович.

— Зачем же платки? Выше бери. Ложки серебряные. Это набор такой.

— А простыми ложками еда мимо рта проливается теперь?

— Это ценность,— терпеливо объяснила Евдокия

Андреевна. — Так положено. А твой где же подарочек?

— Будет,— успокоил Павел Иванович.

А в квартире шум поздравлений стоял, гости гуськом несли подарки, Павел Иванович очень заинтересовался, что же несут-то людишки,— несли они сервизы чайный и кофейный, набор вилок, ножей и ложек, маленький ковер, сервиз обеденный — это от почты, где Таня работает,— и хрустальную вазу, а также рюмки, салатницы, конфетницы, тоже хрустальные, а парни из гаража, где работает жених, два кресла привезли, да таких больших, что в квартиру сейчас их вогнать возможности не было и кресла пока оставили грустить во дворе.

Павел Иванович с некоторым удовлетворением отметил, что никто не подарил ничего такого, чего нельзя бы в магазине купить — дело, конечно, дорогое, но нехитрое,— а вот ты сам сделай — вот штука какая тонкая.

В нетерпении и страхе выскользнул он из квартиры и уже в полном одиночестве забился в тень под арку.

Вдруг страх охватил Павла Ивановича, а ведь это пять лет работы! А ну, как не вышло, а ну, как только кажется, что вышло, а на самом-то деле — пшик, звук пустой, шептунок, что называется, что тогда, спросить осмелимся. Деревяшка простая, красивая, спору нет, но деревяшка. Павел Иванович даже взмок от страха.

Лучше не рисковать вовсе, сбежать, забиться в сарае, в тени спрятаться и несколько дней не выползать из своей будки, выспаться наконец, сколько вон ночей не спал — вещь караулил. Не показывать вещицу никогда. Уж когда он помрет — дело другое,

вещица сама за себя слово заступное скажет, а не скажет — дело возможное, — так хоть избавлен будет Павел Иванович от стыда и позора. А то ведь окажись вещь красивой деревяшкой — позоруще один, по уши, по завязку, хоть давься.

Ну что же это делать, как же это все обозначить, судорожно соображал Павел Иванович, сам и виноват, никто тебя под ребро пальцем не торкал, никто в горло не вгрызался, сам же себе и выбрал эту дорожку, ну так изволь топать по ней, хоть пыль под ногами, хоть мороз ударил, хоть град колотит, но никто за тебя по дорожке этой не пойдет, только ты сам, и Павел Иванович глубоко вдохнул, судорожно вытолкнул воздух, руки о штаны вытер и решительно зашагал к гостям, больше обычного припадая на левую ногу.

Все еще шумели с поздравлениями, когда Павел Иванович, тесня и расталкивая гостей — время ли церемониться, когда момент наиважнейший к горлу подступает — подошел к сыну и потянул его за рукав.

— Вовчик! — позвал. — Ты того... пора.

— Что пора? — не понял сын.

— Ну, это самое. Вещицу дарить.

— Так дари.

— Не снести одному.

— Пойдем, — сразу согласился Вовчик.

Торопливо прихрамал к сараю — сын едва поспевал за ним — и уж ничего не замечал: ни жары, ни людей, да и страха уже не было, лишь белая, как бы раскаленная решимость в голове.

Павел Иванович чуть зацепился за порог, однако ж устоял и, уже не обращая внимания на сына, в три шага был у своей вещицы, обхватил ее руками и прижался к ней ухом, словно б к сердцу живому, она

жила, его вещица, сомнения здесь не было, и улыбка торжества мгновенно взорвала лицо Павла Ивановича.

— Есть! — победно прошептал он. — Есть, Вовчик!

А внутри вещицы, как и вчера, и пять дней назад, что-то шелестело, шуршало, двигалось неудержимо.

— Готово. Взяли, — приказал Павел Иванович.

Покрывала же он, однако, не срывал — надо же было и о зрелище выигрышном позаботиться.

И взяли. И поднатужились. Оторвали от земли. Вынесли за порог сарая.

— Не тяжело ли? — спросил Вовчик. — Может, помощь возьмем?

— Тяжело, конечно, штукенция вон какая. Но обойдемся без помощи, я так думаю.

Ну и жара, черт поberi совсем, в такую жару в тени бы лежать и, прохлаждаясь, кисель холодный посасывать, нет мечты лучше. Однако что сделаешь, если момент самый главный пришел вот в такую жару. Уж здесь от Павла Ивановича мало что зависит, прямо скажем. Хорошо хоть настал этот момент.

Тут Павел Иванович в тоске подумал — а стоило ли вообще это дело затевать, пять лет гробить, лишать себя жизни, и так это оставшейся на самом донышке. Ведь все силы вбил в эту штуку, пять лет вколотил, да крови сколько — мешок, можно сказать, крови, — а спал бы себе взхлеб да деньги не изводил на бесцельное занятие — штука ли деньги и время — штука не штука, а уже их не воротишь. Да унизься перед нужным человечком, чтоб раздобыл нужные инструменты и материал, дерево то есть, да чтоб материал этот был стоящим и мог бы терпеть долгие времена заданную ему Павлом Ивановичем работу — такая уж судьба выпала этому материалу, долго,

очень долго терпеть. Так стоило ли дело затевать, кашу заваривать, так ли уж плохо спокойно дышать и смотреть, как дотлевают твой закат? Для чего же маются люди, отчего неймется им, ну нет спору, если уж по работе постоянной судьба такая вышла, это уж смириться следует — работа и есть работа. Ну, а так-то оглядеться: отчего это неймется человеку, тот, глядишь, мотор на лодке такой мастерит, чтоб был всех других моторов сильнее, ну ладно сказать, если б он бензина жрал поменьше, тут дело ясное — экономия, но ведь жрет-то за милую душу, а придет лодка к Михаилу на десять минут раньше любой другой — весь и выигрыш, так стоит ли жизнь на это угроживать?

Или же вот человек кисточкой по тряпке чирикает, и никто-то на его картинки смотреть даже не хочет, так и что ты, дружище, изгиляешься над собой, на солнце так напечешься, что однажды просто-напросто кондратушка хватит. А толку-то? Нет никакого толку.

Или же еще один чудака часы деревянные варганить станет, а что толку в них другому человеку? Да ты дай ему хоть половину денег, что на часы потратил, так он же счастлив станет. А вот часы твои — дело туманное — еще как примет. Глядишь, и в комнате для них места не сыщется, темной ли ночью в сарай их снесет, чтоб глаза не мозолили. А это пять лет заколочено, да каких лет, почти без сна, по пятнадцать часов работы. Ну для чего человек заботы лишние наваливает, отдыхать когда он будет, жить, как говорится, когда станет? Бой в Крыму, все в дыму, ничего не видно. Вот неймется человеку, а толку — чуть.

Штука эта тяжелая была, и нижним краем она больно колотила Павла Ивановича по ногам, а так

как Павел Иванович был на голову ниже сына, то штука сползала и ему было вдвойне тяжело.

Да он еще, сломавшись пополам, подбородком удерживал покрывало, чтоб ветерком его не сдуло и не оголило вещицу прежде времени. Так и полз он, словно каракатица какая. Да ахая, постанывая и обливаясь потом.

— Может, все же помощи попросим? — снова спросил сын. — Втроем куда как просто.

— Дотянем, — выдохнул Павел Иванович.

— Давай хоть местами поменяемся. Все полегче будет.

— Это, пожалуй, правильно. Давай.

Они поменялись местами, но теперь нижний край колотил по ногам так, что они сами подгибались. Тогда Вовчик как бы присел и руки опустил как можно ниже, чтоб тяжесть снять с хроменького низкорослого папаши, так и шел на полусогнутых. Павел Иванович ничего не сказал, но был благодарен за помощь и даже знал, что сын эту благодарность его чувствует.

Они дохромали все-таки до крыльца, а там все народ толпился, кто-то засуетился помочь, но Павел Иванович срезал такую прыть.

— Посторонитесь, просим! — говорил Павел Иванович, и люди сторонились.

— Чемодан какой-то, верно.

— Аквариум.

— Клетка с крокодилом.

— Кусок от царь-колокола.

Шутники тоже выискались! Пяток лет погорбатиться вам перед этой штукой, небось проглотили бы языки.

И снова тревога, даже и паника охватила его —

удрать куда-либо, забиться в место прохладное, дух перевести.

Но отступить было поздно, потому что сзади напирали.

Уверен был: пять лет обманывал себя, делал простую деревяшку, подставку для обуви, кубометр дров.

— А вот и мы! — громко объявил Павел Иванович, как-то уж проглотив страх.

Он нашел местечко у стены, и они осторожно опустили штуку эту.

Дышать уже Павел Иванович не мог, вовсе задохся, кружились гости перед глазами, плясал с закусками стол. Однако рукавом вытер пот и хрипло сказал:

— А это наш подарок. Сами делали.

И все, видя волнение человека, сразу смолкли и усталились на Павла Ивановича.

И он в тишине сделал большой шаг к своей вещице, наклонился, чтоб освободить тряпку, резко выпрямился и, не удержавшись от возгласа «а!», сдернул тряпку.

— Так будьте счастливы, молодожены.

Это был ящик вроде большого телевизора, светло-коричневый, он тускло блестел: Павел Иванович, конечно, полировал его, однако заботился, чтоб ящик своим блеском не слишком в глаза бросался — дорог ящик не внешним видом, но как раз внутренним ходом.

Павел Иванович, вроде бы пылинку с него смахивая, ухо приложил к его боку и все понял до конца — работа удалась, ход вещицы теперь неостановим, и тогда он победно посмотрел на Танюшу.

— Спасибо, Павел Иванович, — сказала Таня. — Какие хорошие часы.

Павел Иванович радостно видел, что она не при-
творяется и подарок действительно приятен ей. То ли
будет, душенька, когда ты вещицу эту осознаешь до
конца.

— Они все из дерева,— сказала Евдокия Андре-
евна, выплывая из-за Таниной спины и бочком присо-
седиваясь к часам.

— Совсем из дерева? — спросила Таня.

— Да,— ответила Евдокия Андреевна.— Ну, ни
одной то есть детали железной.

— Вот так так, ну и ну, ну и штука,— загудели
гости.— Они идти-то будут?

Это шутка такая!

Сын Вовчик внимательно осмотрел часы, чуть на-
клонившись, взглянул на заднюю стенку и затем во-
просительно уставился на отца. Удивление его понят-
но: стенка была гладкая и голая.

— А как же управлять ими? — тихо спросил он
отца.

— А ими не надо управлять,— ответил Павел
Иванович.— Я уже дал им верный ход.

— А заводить их как?

— А никак. Заводить их не надо. Я же говорю,
что дал им ход.

— И это надолго? — вроде бы даже испуганно
спросил сын.

— А хоть бы и навсегда.

— Но это невозможно.

— Выходит, возможно.

— Значит, вышло?

— Как видишь.

— А как же это проверить?

— Ну, это вовсе просто. Проживи, скажем, сотен-
ку лет — штука ведь простая.

— Да мне и года достаточно.

— Ну, тут и сомнений быть не может. Не останавливаться.

— И давно идут часы?

— Десять дней, как я дал им ход.

— И идут?

— Сам видишь.

— Вот так штука. Ну и ну. Постой, а что же время на них не действует?

— Вовчик! — взмолился Павел Иванович. — Как же время может на них действовать, ведь они время-то и есть.

Сын хотел что-то еще сказать, может, поспорить, но к часам подошла Танюша.

— Павел Иванович, а это что? — показала она на квадрат в правом углу.

— А это твоя жизнь с момента свадьбы. Видишь, десять минут показывают. А потом часы покажут месяцы, ну и годы. Это само собой.

— А это что? — показала она в левый угол.

— А это... это, — начал Павел Иванович и осекся. Объяснять он не хотел, зная, что ему все равно не поверят, в дурачках же ходить особого желания не испытывал. — Это ты сама ухватишь, когда время подойдет. Сама сообразишь.

Не объяснял он как раз потому, что здесь и была вся хитрость вещи, закавыка главная, это в голову людям прийти не могло, и они, знал Павел Иванович, станут насмехаться над ним. Он и сам не мог объяснить, как додумался до этого, более того, как у него получилось все, и сейчас лишь твердо уверен был, что — получилось.

Штука была в том, что левый квадрат показывал только время, когда человек живет жизнью полной,

Ну, скажем, хлебает жизнь полной ложкой, не так себе вхолостую прохаживается, ворон считает или с соседями базарит, но вот именно сказать, живет. Как связывается жизнь человека, на которого установлены часы, с самими часами, Павел Иванович объяснить не мог, но знал, что связь эта есть, и, более того, уверен был, что связь эту ухватил.

И тут совсем все просто: отними от показаний правого счетчика показания левого счетчика, и все тебе понятно, ты сразу сообразишь, сколько ломтей жизни ты на чихание пустое растратил, сколько ломтей этих ты псу чужому выкинул, по ветру сколько ты пыли распустил.

Павел Иванович взглянул на оба квадрата, они показывали один счет — двенадцать минут, и это хорошо, жизнь показывают верную: веселье, праздник необходим человеку, это время никак не летит впустую, это как раз и есть жизнь полная, без нее жить никак то есть невозможно.

— К столу, к столу, гости дорогие,— командовал Костя, и гости охотно рассаживались.

Когда уже вовсе готовы были начать праздник, вошли две женщины — пожилая и молодая. Пожилую он знал — учительница Вовчика, и, судя по радостным приветствиям, ее все здесь знали и любили. Молодую женщину Павел Иванович видел впервые. Она искала кого-то глазами, и тут понял Павел Иванович, что она ищет его Вовчика. Они обменялись взглядами, и понятно стало, что между ними есть кой-которая тайна.

Они вручили молодоженам подарки — это были книги — и, подойдя к Вовчику, сели по обе стороны от него.

По мгновенному молчанию стало ясно, что все в

сборе, ждать некого, сейчас сразу за молчанием будет взрыв и покатится-закрутится колесо веселья.

И взорвалось:

— Шампанское! Шампанское! Бокалы подставляйте! Стаканы давайте! Поживее! Поживее!

Павел Иванович настроился на долгий праздник и был готов к нему. Он не опозорил себя, напротив же, победителем вышел; кому нужно оценить его работу, тот оценил, это праздник так уж праздник, худо ли веселиться победителю в день своего торжества — все тревоги за спиной, все пройдено, все колючки уже вонзились в голые пятки,— так и полный вперед.

Все это так, но Павел Иванович понимал: то и понесло его на веселье, что вещицу свою успел закончить, а если б не успел, то поди посиживал в своем сарае, и не то что на малое какое веселье его не заманишь, но даже на всеобщий праздник двора, вроде такой свадьбы.

В том и дело, что Павел Иванович понимал постоянно: весел он как раз потому, что каждую минуту чувствовал он в комнате присутствие своей вещицы, знал твердо— идут часики, ничего с ними не случится, вот это уж точный точняк.

Нет-нет и бросал он взгляд скользящий на штуку свою, часики, что ли, и всякий раз сердце его как бы чуть поворачивалось и, словно б заливаясь горячим маслом, сладковато ныло: да уж что хитрить, на диво вещица вышла, ох, все ж не заносись, не будь ты кашей гречневой, что сама себя хвалит, но и прибедняться тоже не стоит, надо сказать прямо — так, мол, и так, а это не вещица — заглядение, даже глазу постороннему видно, что она словно б птица чуждальная, редчайшая, что жаром пышет, а в руки не дается, и довольно-таки странно видеть ее здесь, ря-

Дом со стульями привычными, подарками казенными, книжной полкой немудрящей, ох, и не здесь бы ей место, так-то говоря, среди шума, толкотни, гогота, веселья.

Нет, не зря потратил Павел Иванович эти годы, помнил все время ту ночь, когда впервые увидел штуку эту целиком, разом. Как он однажды понадеялся, так и вышло — теперь не очень-то и сразу шар земной остановится, не очень-то и сразу солнце погаснет, и мир будет бессолнечным — он, Павел Иванович Казанцев, сделал все что мог.

И то сказать, братцы, вещи-то все в комнате привычные, стол праздничный — дело, конечно, хорошее, но разве не видели вы таких столов, все-то вы видели, братцы, и по многу раз, а вот такую вещь, какую сделал, например, Павел Иванович, никто из вас не видел и помимо как здесь нигде более не увидит.

Нет, не зря терпел, а вы-то поди считали, что Павел Иванович так себе, чудачок — ушами машет, а, видать, был в нем некий стерженек, вот и сумел Павел Иванович дотерпеть до дня такого.

Вот ведь в чем все дело — время пришло с вещью расстаться. Да, именно так — время положенное настало. А потому что не для себя варганил эту вещь, нет, для всех людей. А если для всех, то мог ли он держать эту вещь в сарае, уже готовую к работе на все времена. Да как же можно! Совершенно не можно. И не случись сегодня праздника, ждал бы другого какого дня значительного, но все равно вещь из рук выпустил бы непременно. Потому что делал не для себя.

И вот награда, вот она, удача веселая, не какой-нибудь иной день подплыл, а именно свадьба девочки, которая выросла на глазах Павла Ивановича, и

нет лучшего д^ня для передачи этой вещицы, как и нет лучшего дома для расположения ее.

Потому что люди здесь живут довольно-таки душе близкие, да и человек, который имел к вещице кой-какое отношение, по соседству пребывает, так что вещьца может спокойно исполнять свое дело, как и Павел Иванович может безоглядно теперь веселиться.

12

Петру Андреевичу сейчас нравилось все: и столы, установленные в виде буквы Т, и посуда, и цветы — сирень, розы и нарциссы, — и всеобщее оживление, и то, что все любят молодоженов, всего же больше нравилась Петру Андреевичу близость праздника в душе собственной.

Странно ведь как устроен человек: еще два часа назад во Дворце Петра Андреевича все раздражало: ожидание, суэта, опасения родственников, что вот что-то может случиться. Ждали час, не меньше, и смысл торжества сводился к тому, понимал Петр Андреевич, что нужно доказать себе и друзьям, что мы ничем не хуже других, что торжества такие устраиваются, без сомнения, для невесты: подружки незамужние должны пышности этой позавидовать и унизиться собственным незамужеством, подружки замужние должны хоть на мгновение подумать, что у нее, у Тани то есть, все будет, может, не так, как у нас, может, жить будут дружно, в любви что называется, — и снова-таки позавидовать еще возможному счастью невесты.

Раздражала Петра Андреевича и пышность Дворца, и торжественная музыка, и усталый, но пытаю-

щийся быть бодрым и оттого фальшивый голос полной женщины, поздравившей молодоженов. Особенно раздражало Петра Андреевича собственное положение: с одной стороны, он с удовольствием сбежал бы с этого фарса, но неудобно перед братом, с другой же стороны — что может быть хуже чувства, что ты всем здесь чужой человек. Выходя из Дворца, Петр Андреевич знал, что придется запастись терпением и досидеть на свадьбе до конца, показывая, что весел и доброжелателен, что хмелен без вина и счастлив без причины.

Но когда сели в машины и машины тронулись, неожиданно стронулось что-то в душе Петра Андреевича, тихо зазвенело что-то, и пропал звон, и снова тишина, а потом снова зазвенело — неясная зыбкая мелодия какая-то, и Петр Андреевич всю дорогу молчал, чтоб не мешать мелодии обволакивать его. Уже подъезжая к Фонареву, он знал, что это радость, предсчастье, ожидание близкого праздника. Так в детстве — последний урок кончился, ты свободен, тебя не ждет нахлобучка за тройки и четверки, а впереди зимние каникулы, и это бесконечный праздник — это звон коньков, сиянье льда, сверкание звезд на верхушках елок, это смех Деда Мороза, непрерывные воздушные шары.

Петр Андреевич испугался этой мелодии, потому что знал, чем кончается для него всякий праздник, но заглушить свою радость уже не мог. Рядом с ним в машине сидел брат Костя, и Петр Андреевич сказал:

— Все хорошо, Костя?

Тот удивленно посмотрел на Петра Андреевича и ответил:

— Да, Петр, все хорошо.

В дороге попали в полосу дождя, и это почему-то обрадовало Петра Андреевича — он ждал близких перемен, и вот они — скорый, летучий дождь.

Когда подъехали к дому, все уже нравилось Петру Андреевичу.

Он встретил на кухне жену свою Веру Ивановну, и та по оживленному его лицу поняла, верно, что он уже вступил в полосу праздника, и, тоже зная, чем кончается праздник, испуганно посмотрела на него и тихо, чтоб никто не слышал, сказала:

— Не надо, Петя.

— Да что ты, Вера,— удивился он.— Да, конечно, как можно. Все в порядке. И даже в полном порядке.

И сейчас, когда была дана команда рассаживаться и гости засуетились, настраивая себя на первые глотки и прицеливаясь к закускам, Петр Андреевич присмотрел себе местечко рядом с братом, и местечко это притягивало Петра Андреевича. Особенно нравилась ему скатерть, плотная, голубая, с яркими синими полосами, накрахмаленная так туго, что бахрома колола руки. Нравилось и то, что на синей полосе ждет его тонкостенный стакан и вместительный красивый фужер.

Выстрелили пробки, и полилась по стаканам прозрачная шипучая влага. Тамада, веселый парень с работы Николая, постучал по своему стакану вилкой — внимание, внимание, тихо, да тихо же,— уговаривали все друг друга, и встали, чтоб вместе с тамадой поздравить новобрачных, желая им совета да любви, да дружбы, да детей малых.

Петр Андреевич, не в силах уже скрыть улыбку радости, смотрел в окно — жаркий день еще сиял, но чувствовалось, что он уже медленно переламывается к прохладному вечеру.

Сейчас это будет, сейчас. Он осторожно глотнул, и холодные пузырьки обожгли рот, горло, пищевод, и все в душе мигом востепенулось и снова опустилось на дно, только уже осторожно опустилось, и не в беспорядке, но все легло по своим местам. Он даже глаза прикрыл, чтоб вид чужого счастья не отнимал ни частицы счастья его собственного, славно как, как замечательно, лучшего состояния и не бывает, потому что в душе колкие звезды, все спокойно и все по местам.

Тамада, выпив шампанского, вдруг шарахнул в угол пустой стакан — на счастье, надо понимать, — и это вышло так лихо и неожиданно, что все засмеялись, а он, разыгрывая бесшабашного тамаду, смеясь, вытаращил глаза и истошно завопил:

— Горько! Да горько же!

И все подхватили: горько, горько да и все тут.

А молодые приняли игру, что предложил им тамада, встали они чинно, с негнувшимися спинами, лица серьезные — смеются, черти, над гостями, — лишь чуть коснулись губами друг друга и так же чинно сели.

И вот-то второй тост пошел — уже за родителей, — и Петр Андреевич выпил еще шампанского, влив в него для горечи немного коньячку, это была хорошая смесь, но похуже первого глотка шампанского, конечно.

Очень нравился ему стол — рыба, яблоки, салат. От букета сирени и голубой, словно б вбирающей в себя свет, скатерти голубыми казались и пустые тарелки перед Петром Андреевичем.

И тут он сообразил, что коли тарелки стоят пустые, то их следует наполнить.

Подробно взглядевшись, он заметил, что это не

просто так себе стол для украшения или чтоб было на что облокотиться, но: сверкает магово в глубоких тарелках студень под толстым серебристым налетом жира, но: смесь из красного, зеленого, белого — это салат, но: белое, желтое, коричневое — другой салат, но: зеленое, нежно-коричневое, словно чуть загорелое, голубое и белое — салат третий, но: жареная рыба в томате, и стол разламывается от еды, глаз вовсе не хватает окинуть все подробно, и вот заметил Петр Андреевич, что после второго тоста молчание на мгновение повисло, этакое раздумье — а дальше что же, долг выполнили, подарки вручили, «горько» откричали, дальше-то что же, вот откуда молчание, и вдруг сомнения кончились, и: грохот, обвал, звон тарелок о тарелки и вилок о тарелки, и звуки разрываемого мяса, клацанье зубов — не обедали ведь люди сегодня, во Дворце были, поехало дело, мычание восторга, ах, хозяйка, а рыбка-то сама рассыпается, да если ее, к примеру, под водушку, эх-ха, позвольте побеспокоить и тоже испробовать знаменитую рыбку, уж и забыли друг о друге, только самозабвенное жевание, зоба услада, это, оказывается, тертый сыр с яйцом и майонезом, попробовать-то позвольте (попробуй, голубь, попробуй, не позволь тебе, сам небось возмешь), а что поделявают жених и невеста, какие еще жених и невеста, ах да, мы же на свадьбе, так «горько» им, «горько», но ничего не выйдет, никто не помешает (а никто и не собирается мешать, голубь, да и есть ли сила такая, чтоб помешать тебе).

И тогда Петр Андреевич потянулся за студнем и маринованной рыбой и начал их есть, чем вызвал удовольствие сидящей рядом жены своей Веры Ивановны.

Думала, верно, что загудел ее Петр Андреевич и закусывать не станет, с ним так и бывает; если хоть чуть понесет, то уж не ест ничего, но сейчас он ест, да еще как, потому что вовсе он не загудел, но просто это праздник, и нельзя обидеть себя, племянницу и гостей многочисленных, это просто души кружение, он посидит со всеми вместе, да вечером пойдет с Верой Ивановной домой — все дела, есть ли о чем говорить.

— Ты уж больше, Петя, не носи,— тихо попросила Вера.

— Да что ты, Вера, как можно, я же вполне здоров. Что было, то прошло, и нам, как говорится, того не жаль. Весело, сама видишь.

— Так хоть поешь как следует. Студень хорош. Это Анна Васильевна постаралась. Ты знаешь, она хорошая женщина, и мы были к ней несправедливы.

— Вот видишь. Никогда не надо спешить. Лучше уж в таком деле человека переоценить. А недооценишь — потом годами расхлебывай. Брат все-таки родной.

— Так ты на студень нажимай.

И он нажимал со всеми вместе, за молодежью ему, понятное дело, было не угнаться, но он старался, надо отдать должное. И твердо верил, что все его выкрутасы, вензеля давно позади. В душе его равновесие, и кажется, что вся его жизнь была удачной, на голый стержень ее нанизывались главным образом дни счастливые и праздничные, и как же в целом жизнь ловко сложилась — позавидовать да и только.

— Ты вот рыбу маринованную попробуй.

— А как же не попробовать. И что за рыба?

— Треска. Сама делала.

— Здорово.

— Так и пробуй.

— Да уж пробую.

Он пробовал и радовался еде, но и жалел, что праздничный этот стол разваливается на глазах, вот уж как старались Анна Васильевна и Вера Ивановна, но что же поделаешь, еда поставлена, чтобы ее есть, вот ведь как.

Еще тосты были, но люди уже малость притомились, посбили жевательную прыть, вразнобой говорить начали, каждый вроде сам по себе; размякший, ублаженный человек начинает говорить первое, что диктует ему блаженная сытость, и гул вроде стоял, ничего не разобрать в этом гуле, но если со стороны кто послушает, то и скажет, что вот это и есть веселая свадьба.

Кто-то спросил (уж так, для куражу, знал, что не откажут), можно ли закурить, и разом все закурили, клубы дыма повисли над столом, и даже дым казался не едким, но вкусным, тоже веселым — другое совсем дело, когда курят не голодные и злые, но сытые и благодушные люди.

Сейчас Петр Андреевич был счастлив, и нравились ему люди, ничем не озабоченные, для праздника сейчас живущие, и чувствовал Петр Андреевич, что он как бы от себя самого уже не зависит, но он лишь частица всеобщего веселья, и, куда эту частицу понесет, туда она прибьется, и всюду ей будет хорошо и ладно.

Ему хотелось поделиться с кем-нибудь своей радостью, и тут — вот так удача — рядом сидел брат Костя, и Петр Андреевич осторожным толчком локтя привлек к себе его внимание.

— Костя! Все хорошо, верно ведь?

— Да, хорошо, Петр.— Костя посмотрел на него удивленно, словно не узнавая брата.

— Вот так бы всегда, верно? Нет, ты пойми и меня — не стол такой, не хмель, но вот праздник сам по себе, а?

— Да, Петя, я рад бы, но не выходит.

— Вот-то ведь как жаль. А так-то: жизнь — каникулы, карнавал, праздник. Утром проснулся здоровым — уже спасибо. Подарок, худо ли?

— Да, хорошо бы, Петя, это ты верно.

— И вся жизнь такая. Ведь тогда прощание будет легким. Повеселился, пожил — спасибо. Непразднично мы живем, Костя, вот как непразднично.

— Да какой праздник, Петр? Где его взять? Только и заботишься: пройти достойно. Себя не роняя.

— Скучно мы живем, Костя, вот беда.

— Да, веселья маловато.

— Правильно говорится: «Для веселия планета наша мало оборудована». Мало, Костя, мало.

— Ты бы ел, Петя,— напомнила о себе Вера Ивановна.

— Поем, Верушка, обязательно поеμ, вот только дай с братом поговорить.

А поговорить вот как хотелось: словно год человек играл в молчанку, а душа его копила кое-какие сообщения, и вот сосуд полон, взрыв, нет больше возможности молчать, так и дайте поговорить с братом, человеком хорошим.

— Отличные ребята у окна сидят, Костя. Кто такие?

— Это с работы Николая. Хорошие ребята.

— Что ты, отличные, смотри, как смеются. Значит, кое-что в жизни понимают, раз умеют так смеяться.

— Конечно, понимают, только бы не начали после

смеха такого с соседями спорить да за грудки хватать.

— Не беда, Костя: проспятся, а веселье в душе останется, не это ль главное? Хорошо все, славную ты свадьбу устроил.

— Нравишься ты мне сегодня, Петя,— добрый, веселый.

— Да я всегда такой, Костя, только ловко это скрываю. Чтоб загадка кое-какая была.

— Нет, всегда ты серьезный, и постороннему человеку даже подступиться к тебе опасно. А когда ты добрый, нет лучше тебя человека.

— А я вот всегда люблю тебя, Костя, потому что ты брат мой меньший. Да я для тебя ничего не пожалею.

Это была правда: приступ любви к брату так захлестнул Петра Андреевича, что он осекся и говорить больше не смог, он даже расцеловал бы брата крепко-накрепко, но боялся, что люди подумают, что он уже навеселе.

— Славно как,— снова заговорил он, переждав, пока душа успокоится,— а какая сегодня красивая Танюша. Да красивее девушек я в жизни не видал. А как хорошо улыбается Анна Васильевна — сразу видно, что веселый человек. То есть человек настоящий. Ты молодец, Костя, ты не ошибся. Человек она хороший.

— Да, хорошая она, Петя,— и брат в благодарность обнял Петра Андреевича за плечи.— Вот главное в ней — она добрая.

— Так и не тяни ты это дело, точно тебе говорю. Не промахнешься. Надо ведь. Что одному-то?

— Да вот думаю,— признался Костя.— Надо бы.

— И что раздумывать долго? Опять повеселимся. Снова праздник. Плохо ли? За твое счастье.

— Спасибо, Петя. Я и правда люблю, когда ты добрый и веселый.

— А я всегда теперь таким буду. Что скрывать свое веселье? Мы-то, люди воевавшие, знаем, сколько раз человек живет. Жизнь — дело простое, чепуха какая-то и даже насмешка, и мы знаем с тобой, что оборвать ее легче легкого, ниточку ножницами перерезать и то труднее. Так что и все разговоры.

И тут он, вспомнив, что на некоторое время позабыл о Вере Ивановне, обернулся к ней и уже клял себя, что потерял ее из виду хоть на короткое время.

— Хорошая ты, Вера,— сказал он.— Лучше тебя нет никого. Я понимаю, что мало счастья ты видела со мной, да что ж поделаешь. Ты была такой веселой, счастливой девочкой, это я засушил тебя и отнял твое веселье. Прости меня, Вера, прости.

— Да что ты, Петя, что с тобой сегодня?

Петр Андресвич понимал, что ей приятно его внимание, и его переполнила благодарность за то, что она терпела его с лишком тридцать лет, за то, что вырастила детей и заботой спасает его в повседневностях, и он погладил ее руку и даже наклонился и украдкой, чтоб никто не видел, поцеловал ее руку.

— Я тяжелый человек, Вера, я знаю это. Но больше этого не будет. Жизнь твоя с этой минуты станет весельем и радостью. Верь мне, Верушка, верь, пожалуйста.

Она печально смотрела на него, понимая, конечно, что неспроста повеселел муж и следует ожидать большие беды, но, однако ж, и приятно, когда суровый ее Петр говорит с ней ласково, вот уж можно

и рукой махнуть на будущие беды за несколько ласковых слов.

Нес Петра Андреевича на легких своих крыльях восторг, любовь к окружающим людям; уже получалось, что это и есть самые достойные люди — добрые, веселые, умные, уже себя корил, что был сух с ними, высокомерничал, вроде, получалось, что он несколькими порядками выходил повыше любого из этих людей, и это самая главная ошибка его жизни, но теперь — все иное: его будет нести восторг любви к близким и малознакомым людям, блаженный, счастливый восторг, и как же замечательно теперь он жить станет.

Над братом Костей склонилась Танюша и что-то спросила, вопроса Петр Андреевич не слышал, но ответ Кости разобрал. Тот растерянно ответил:

— Нет.

— Ну, как же так,— упрекнула отца Танюша,— ведь мы же договорились, что соседей и родственников звать будешь ты.

— Просто забыл,— ответил Костя и виновато развел руками.

— А я-то закрутилась, совсем голову потеряла. Ну, как же так. А еще говорят, старые хлеб-соль не забываются.

— Выходит, забываются, дочка.

Таня покачала головой и вышла из комнаты.

Фрося, облокотившись о подоконник, стояла у кухонного стола и смотрела во двор. Медленно надвигался предвечерний час, и близкое уже предвечерье

разламывало Фросе душу — уплывало время и с ним... это самое, уплывали надежды, что о ней вспомнят и позовут на праздничное торжество.

Ей бы, что ли, гордость показать свою, спрятаться в комнате, носа на кухню не показывать, сидеть тихо, как мышка, без малого шороха, чтоб ее не видели и не слышали в квартире и чтоб потом, когда пойдут в ход насмешки, не цеплялись, что она — ага! выкусила, вишь ты, и не подавилась, и даже не крикнула — ждате ждала, а на нее Михалевы даже чиха пожалели.

Но не хватало, как это сказать, гордости, и, так как из комнаты не видно михалевского крыльца, Фрося с четырех часов и вовсе перекочевала на кухню. То она варила картошку, то чай кипятила, то картошку ела, поставив тарелку на подоконник, то снова чай разогревала, а уж когда наелась и напилась и занятий для себя не могла придумать, то облокотилась о подоконник и так замерла на долгие часы.

Видела, как проплыли по двору молодожены, как хлопали в ладоши гости, а на нее внимания никто не обратил совершенно, хоть заметить Фросю было проще простого, только вспомни о ней, а вспомнив, брось взгляд налево, и вот в двадцати шагах торчит она в окне. Но никто не вспомнил, и понимать следовало окончательно, что там, где праздничное веселье, где люди, точно ли сказать, счастливы, там, вернее всего, не остается места для памяти о Фросе, существе старом, кривоватом, никчемном.

И вот-то горевала Фрося — уже и локти отдавила, и ноги отстояла, — что нет для нее места в веселье, а потом, отгоревав, смирилась и только медленно тлела в этом смирении, что она — существо ненужное и пустое.

И заранес готовилась к завтрашним насмешкам соседей — а насмешки они готовят великие, и будут правы. Все сейчас в квартире, на прогулку никто не вышел, хоть погода так и зовет на залив да в парк, притаились все, чтоб присутствовать при собственной победе, чтоб не пыталась завтра Фрося выкручиваться — мол, дома не была, гулять выходила, а не свисти, голубушка, не вертись, ты весь день у окна проторчала.

Вот уж проиграла так проиграла. И ручки кверху. Охни и умолкни на долгие времена. И про электросчетчики не вспоминай, и с мытьем лестницы не ересься.

Да и то уж пристрелка к великой насмешке началась — на кухню вышла Машка, младшая из Дуденок. Она, видите ли, чайник поставить захотела, чайком, знаете ли, побаловаться. Худая, бледная, сутулая. Не от болезни это, хотела сказать Фрося, а от злости худоба и бледность. Однако этого Фрося не сказала, но лишь подумала, потому что хоть и была зла на Машку, но жалость, как бы сказать, это самое, верх брала.

— Отдыхаешь? — ехидно спросила Машка.

Фрося ничего не ответила. Ей вроде сегодняшние насмешки — горох в стенку. Вот завтра — дело другое. Но до завтра сначала дожить надо, да, глядишь, может, Фрося что-либо похитрее придумает.

— А не простудишься? — настырничала Машка. — Ведь у нас сквозняки. А ты с утра стоишь.

Машка уже поставила чай и пошла к двери, и только тут до Фроси дошло, что ее здорово подцепили.

— Не с утра, однако, не с утра. А с четырех часов. Разницу поняла? Но никак не с утра.

Ответила она громковато, и на ее голос из своей комнаты вышла и Катя, мать Машки.

Она подошла к кухонному окну, выглянула во двор, чуть даже погладила Фросю по плечу — жалеет, видишь ли, — и Фрося, чуть размягченная, подняла голову и заметила, что глаза Кати смеются, и тут Фрося усекала, что в это самое время Катя придумала какую-то злую насмешку и бережет ее на завтра.

— Ты бы отдохнула, Фрося, — сказала Катя, — дома бы полежала, телевизор посмотрела.

— Да там все футбол и футбол.

— Нет сегодня футбола. Там концерт передают.

— Я уж посижу. Воздух, сама знаешь, это самое, теплый и полезный.

— Ну, сиди-сиди. Может, чего и высидишь.

А из кухни не уходят, капают на душу, про себя смеясь над Фросей. Вот уж проиграла так проиграла, не зря, видно, вчера заснуть не могла, не зря охала да ворочалась. Ждать больше нечего. Поздно, тени уж заскользили, пир уж вовсе разгорячился — верно, теперь-то счастливые люди о ней никогда не вспомнят, вот тошненько, ах ты грех какой.

И вдруг дверь в коридоре запела, и кто-то легко вошел, нет, впорхнул в квартиру. Фрося, сдавленная внезапным предчувствием, оттолкнулась от подоконника и заспешила к двери — прыть-то откуда взялась.

Вышли в коридор и Дуденки. А в коридоре-то — облачко белое, песенка веселая — прошелестела деточка в платье белом и фате прозрачной, ах ты, суета какая, растерялась Фрося, да за мной же это, как тут быть, и победный взгляд бросила на Дуденка — и взгляд обожания на свою хворостиночку, да так и забила, заметалась по коридору.

— Ну что же ты, тетя Фрося, — ласково упрекнула ее Танюша, — мы все ждем, а где же ты?

— Да как так. И я жду. — Тьфу ты, гордость бы свою показать, схитрить бы малость, да где там — вовсе голову потеряла от радости. — Это я мигом, ну прямо сейчас.

И бросилась в комнату, оставшееся от давних времен платье праздничное достала — платье темно-синее, бархатное, с широкими тяжелыми плечиками да с бслым бантом на груди, — скорехонько надела его, причесываться уж некогда было, она лишь несколько раз провела гребенкой по волосам и была готова. Вышла в коридор, где ждала ее Таня, и та взяла ее за руку и повела за собой.

Глядите, глядите, снова Танюша плывет, облачко слабое, дыханье легкое, светлая тень, плывет легко, чуть касаясь земли, и ведет она за руку тень темную, черную почти, и та спотыкается, не поспевает, торопится, чистая юность — вот ты где, испуганная одышечная старость — и ты здесь же, так руку дай твою шершавую, крепче держись, запасись сил и терпения, сейчас мы придем, недолго уже, недалеко, вот только над канавой взмоет, только разбросанные дрова обтечем, недалеко уже до веселья, песен, звона стаканов, и на крыльцо вспорхнула светлая легкая тень и за ней тучей тяжелой вползла тень темная, вечерняя.

Таня ввела Фросю в комнату, и все уже изрядно были веселы, и все-то знакомые Фросе лица, и по радостным приветствиям Фрося поняла, что и ее все знают и даже отчего-то рады ее приходу.

Гости малость потеснились, чтоб пропустить стул

для Фроси, но, прежде чем втиснуться на стул, Фрося вспомнила, зачем пришла, а под мышкой у нее для этого случая коробочка малая была и в ней цепочка золотая — последнее, что осталось от хлебной жизни с Акимом Антоновичем. Ее-то, цепочку эту малую, и вручила Фрося невесте.

И когда она поздравила молодоженов и малость даже сказать всплакнула от предчувствия долгого Таниного счастья, то все захлопали в ладоши и громко завопили: «Горько» — и штрафную ей, дело какое, штрафную.

И что же: она долго уговаривать себя не заставила и штрафную эту приняла, так что она соколом просвистела, и Таня, стоя над ней, подвигала ей то одну тарелку, то другую, то рыбку, то грибок, то студенок, и, чувствуя себя уже полноправной гостьей, Фрося ни от чего не отказывалась.

В это время Аня горячей едой обносила гостей — бифштексы, залитые яйцом, — Фросю тоже не обошла, возле нее остановилась, добродушно даже посмотрела, мяса отвалила — и дальше себе пошла.

Фрося сидела как раз напротив Константина Андреевича, она для разведки подняла на него глаза — не цепляясь, конечно же, за лицо взглядом — и увидела, что он ей как бы даже и рад.

А Фрося кое-чем заклевав это дело, взглядом поскользила по гостям и вот-то поняла, что нужно делать дальше. Поняла, что свадьба малость притормозила свой разлет, буксовать начала, вроде уже люди веселы сами по себе и от свадьбы независимы и нужно их чем-либо подтолкнуть.

Рядом с ней сидел молодой парнишка — и Фрося ему сказала:

— А что же это не поют нынче? Или осипли от «горько»?

Тихо так это сказала, чтобы не подумали, что она вломливая такая — только что пришла, а уже командует.

Паренек кивнул — мол, все понял, сейчас сообщим.

— Внимание! Есть предложение попеть. Левый фланг, вы там помоложе, так и начинайте.

А Фрося, надо сказать, вот ведь как любила петь. Но вот чтоб развернуться да вложить в голос все свои мехи, этого не было давненько, надо сказать.

Фрося, конечно, не то чтоб обучена была хорошему пению, этого не было, и не то чтоб мелодию правильно вела, этого тоже не было, в самодеятельность, заметить надо, ее никогда не приглашали, потому что пела она как бы независимо от других певцов, больше заботясь о своей песне, а не о песне общей, то отставала, то значительно забежала вперед, все это так, но одно несомненно — пела она, что называется, от души, во всю мощь, во все горло, так что пение ее скорее походило на складный торжественный крик. Вроде бы гордится собой человек — вот вы, мол, меня за недотумку считаете, за птаху темную, а вот вам, слушайте, сколько складных слов кряду я могу обозначить.

Включались медленно, как бы даже нехотя, ребята молодые, дружки жениха, запели, что шоферы очень надежные друзья, и все за столом подтягивали нехотя, без удовольствия отвлекаясь от разговоров, вроде не пели, а мурлыкали. Фросе слова этой песни были знакомы, но не подряд, одно к другому, а только на выбор, и все она не могла включить полные обороты, и томила от нетерпения — эдак же и вечер

пройдет, а она не проявит себя, не врубит свои мехи.

Но вот молоденькие девочки у окна запели «Ромашки спрятались, увяли лютики», и Фрося ну встрепенулась, ну приободрилась, вот сейчас она включится. Весь стол запел, и Фрося со всеми вместе, да, пожалуй, всех громче, так что голос ее выделялся надсадом, включилась с ходу, да так крепко, будто бы разом душу хочет криком вывернуть наизнанку. «Зачем вы, девушки, красивых любите» — и даже глаза прикрыла от удовольствия, и также для того, чтобы словам в голове было удобнее складываться ровненько.

А люди за столом так даже малость ошалели от Фросиного трубного с хрипотцой голоса — может, он не на всякое ухо приятен, но ведь каждому и не угодишь, тут уж, как водится, ценитель нужен, и ценители находились, и хоть Фрося голосом своим приводила всех в некоторое даже замешательство, однако ж отказаться от него побоялись.

И вот запели «Подмосковные вечера», слова этой песни за много лет удобно разместились во Фросиной голове, и всякое слово знало свое место и выпархивало не спеша и не задерживаясь, но исключительно в положенное время, да так это гладко лились, не цепляясь друг за друга при вылете, но даже осторожно подталкивая предыдущего друга, помощь ему дружескую то есть оказывая.

В этой песне пробелов у Фроси не было, спела она ее поэтому с особым удовольствием, даже глаза не закрывала, потому что словам этим ничто не могло помешать вылететь. И эх-ха как славно получается, без спешки и без задержки, точка в точку, да со всеми вместе, да от души.

Знала, она может петь бесконечно, это уж точно,

всех пересидит. Пели да и пели, но тут Фрося заметила, что молодежь по одному начинает ускользывать в соседнюю комнату, и поняла, что там начались танцы.

Уговаривать людей не ходить туда, но сидеть здесь она никак не могла и так незаметненько осталась за столом одна.

Посидев малость, она подумала, что ей бы тоже надобно размяться, и тут вспомнила, что ведь она и плясать вот как горазда. Ну, конечно, не медленно похаживать, за ручки держась, нет, интереса в этом нет, а вот вихрем сорваться и понестись, понестись под завистливые ахи зрителей.

Она подошла к танцующим и, когда слышала веселую музыку, то, потеснив стоящих в дверях людей, бросилась занимать место для танцев, да так резво и неожиданно, словно кто ее в спину из всех сил толкнул.

Для всех неожиданно выскочила, это само собой, главное же выскочила неожиданно для себя, вот уж не думала выскакивать, вернее, думала, конечно, а вот и я станцую, однако ж не сразу, не вот так, безоглядно, а выскочила и видит, что она одна посреди комнаты, и делать нечего — пошла, пошла, к музыке прислушалась, а там весело поют «Улочки да переулочки, хороши под липами прогулочки», да вот она, Фрося, ох и задаст она перцу, ноги-то хоть куда еще, прыти-то нерастраченной вон еще сколько, руки за голову заломить, и присесть, и ножку в сторону, да встать резвенько, да бочком повыхваляться, да подвизгнуть зазывно — слабó вам так уж нынче, в толпе вы все больше прыгаете, а в одиночку, видать, осмелки нет, да так прыгала, что позванивала в соседней комнате посуда на свадебном столе, и моло-

денькая девочка не выдержала, вышла к Фросе, ручкой над головой покручивать стала, ножку поламывать, а все в ладоши хлопали — ай и Фрося, ну и Фрося, да уж, верно, танцевать умеем, а вот еще как присесть и вот вам еще как, да тут пластинка и кончилась.

Все переглядывались, весело пересмеивались, захлопали Фросе, она даже и поклонилась — много ли надо нам, да легкого спасибо вполне достаточно. Но уж тяжесть собственную почувствовала, уж задышала, словно паровоз, да и села отдышаться к столу.

Танцы шли своим ходом, и Фрося уже была рада, что на нее временно никто не обращает внимания, и тогда решила еще поклевать с праздничного стола, и так это сладко вдруг зевнула, и что-то в сон ее клонить будто бы стало, и только подумала — а дай вздремну малехонько, а только голову удобно устроила на столе, тарелку со студнем чуть сдвинув, как возле нее Танюшка оказалась, песенка веселая.

— Пойдем, тетя Фрося, уложу я тебя.

— Да, детонька, пойдем.

— Устала ты сегодня.

— Да уж, устала.

Помогла подняться, за плечи поддержала, и они пошли двором.

А вон, посмотрите, и обратно плывут тени, светлая и темная, уж не плывут, но медленно бредут, да что ж изменилось? Да то лишь, что сумерки кружат над домами, да солнце к закату клонится, да легкая тень стала легче, а тяжелая тяжелее; светлая тень поддерживает темную, и та опирается на нее — головой к плечу, — так старость опирается на юность, слабость на силу, зло на добродетель; ну еще немного, тетень-

ка, самую малость, вот камень, вот ступеньки, вот и порожек, чуть-чуть осталось, сейчас и отдохнешь, а завтра утром новые силы притекут, и вот сюда, пожалуйста, вот сюда, а теперь присядь и туфли дай сниму с тебя, дай из платья выну, а вот и одеяло, потеплее тебе будет, спи спокойно, тетенька, как и ты будь счастлива, душенька, белочка, веточка моя.

14

Когда Казанцев узнал в Тане Михалевой ту женщину, чья красота и легкий шаг обидели его вчера, в разгар жары у почты, такое совпадение показалось отчего-то ему удачным началом свадьбы.

Весь день Казанцева не покидала легкая, зыбкая радость, но к ней примешивалась тревога за отца, — что будет с его подарком? Но подарок вручили вовремя, и он, этот подарок, всех обрадовал. Казанцев боялся провала отца и рад был, что провала не было. Все видели, что часы сделаны красиво, хитроумно, и охотно поверили Павлу Ивановичу, что теперь они будут идти безостановочно.

Уже усаживались за стол и ждали сигнала тамады, а Раисы Григорьевны и Лены все не было. Казанцева охватило нетерпение — да где ж они, не передумала ли Лена идти на свадьбу, и тогда Казанцев понял, почему он нетерпеливо ожидал свадьбу: он вновь увидит Лену, и, когда она пришла вместе с Раисой Григорьевной, он укоризненно взглянул на нее — я вас ждал, а вы меня покинули — и, когда подал руку, чтоб помочь Лене сесть, слегка сжал ее ладонь, и она ответила ему пожатием, Казанцев безошибочно уже знал, что сегодняшний день будет днем удачным.

Более того, сейчас в нем тлела надежда, что затянувшийся период его бед потихоньку заканчивается. Да откуда такая надежда? Если б это знать, если б можно было объяснить, отчего у одного человека даже при тяжелых поражениях остается уверенность, что поражение временно, падение случайно и он непременно скоро вновь поднимется, другой же и при малейшем невезении опускает руки и жизнь свою полагает безнадежной,— если б это можно было объяснить. Ну да, характер, ну да, мужество, но есть и еще что-то, чему названия, однако, нет.

Казанцев ожидал везения, и он не ошибся.

Главное: застолье прошло весело.

Главное: с ним рядом были Раиса Григорьевна и Лена. Казанцев, изображая галантного кавалера, был весел и находчив.

— Идите танцевать, ребята,— сказала Раиса Григорьевна.

— Да я давно уже не танцевал. Лет десять, если не пятнадцать.

— Если ты думаешь, что здесь конкурс бального танца, то ошибаешься.

— Да, пойдем танцевать, Володя,— сказала Лена.

А ведь ждал момента, когда они начнут танцевать, танцы на свадьбах долгие, и весь вечер они будут неразлучны, да, собственно, танцевать и не нужно было — со всех сторон их стесняли разгоряченные тела и нужно было только послушно переставлять ноги да держать друг друга за руки.

Со стороны-то смотреть — унижение, позор человека, куча мала, разгоряченные лица, разгоряченные тела, но это если смотреть со стороны, если же ты сам в этой куче, то хоть так, хоть в жаре, но только бы с нею рядом, с дыханием ее, горячим лицом, не-

разрывная душа моя. И согласен был Казанцев до конца свадьбы терпеть тесноту и чужое дыхание, но только быть с Леной рядом, вот так и плыть — не снесет тебя, не разобьет волна о берег.

Танец закончился, но все остались на прежних местах, потому что выйти из этой кучи было невозможно.

Лена все-таки повернулась, чтобы пробиться к двери.

— Нет, погоди,— попросил Казанцев.

Он держал ее вытянутые книзу руки, и в тот момент, когда поставили пластинку «Ты разлюбил меня бы, что ли», он тихо позвал: «Лена», она распрямилась, обернувшись к нему — только полуоборот головы, плавный изгиб шеи,— он отвел свои и ее руки за спину и прижал Лену к своей груди, она замерла, вопросительно глядя на него, сердце его заколотилось, однако хватило воли утешить себя — это все чепуха, эхо прошлого, прежняя детская влюбленность.

— Что с тобой? — спросила она. А сама уж все поняла.

— Плохо дело, Лена,— пожаловался Казанцев.— Кажется, я люблю тебя и моя песенка спета.

— Это пройдет, Володя. Просто всем весело, молодожены любят друг друга, и тебе это передалось. Это зависть, Володя. Ну и, конечно, сентиментальность. Это пройдет.

— Я тоже надеюсь,— сказал он.

В сумерках, в горячей душной тесноте танцевали они, прижатые друг к другу.

Вдруг Константин Андреевич крикнул: «Во двор, там и продолжим!» — и все подхватили: во двор, во двор, там прохладнее, простора больше, вот и подымаем пыль, подышим на блеклые звезды.

Константин Андреевич поставил на подоконник проигрыватель, и сразу двор начал оживать, словно люди в домах знали, что веселью будет тесно в помещении и оно выплеснется на улицу, из большого дома выходили люди, чтоб посидеть на лавочках перед своими подъездами. Перед домом, где живут Казанцевы, стоял большой стол для игры в домино, тут толпились люди, но сейчас, оставив игру, лицами они обратились к подъезду Константина Андреевича — звало, звало к себе чужое счастье, но только как прибьется к нему, где тот первый смельчак, что разорвет пространство и прибьется к веселью? Да кто же этот первый?

Да вот он, Леня Лапинский, кто же еще, непременный участник всякого праздника. Его и не зовут никуда только потому, что знают — Леня и так придет. Пятьдесят лет ему, а для соседей он все Леня — такой веселый человек. Он не выдержал и, наклонившись вперед, широким шагом зашел к веселью. Со стороны видно было, что Леня уже придумал, как половчее подойти, чтоб у хозяев не было повода упрекнуть его в навязчивости. Он шел по двору, направившись к арке, вовсе на выход, не забывая при этом вид принять, что он глубокомысленно рассуждает, для чего и хлопнул себя пару раз ладонью по лбу, вовсе мимо прошел, вдруг — ах! что я вижу! — и руки к небу от восторга — да неужели это Танюша, как можно не поздравить ее, боже мой, и, ладонями отталкивая воздух от своего лица, успокоил всех — только на секунду, только поздравить, и потому ша — бемоль, как говорят музыканты.

Зашел к невесте и, не доходя до нее шага два, рухнул на колени — не встану, не встану пред такой

красотою, однако его подняли, и Константин Андреевич ввел Леню в дом.

И тут что-то как бы вздрогнуло во дворе, молчание на мгновение установилось. И сразу за ним оживление началось — близкие и дальние знакомые, сидящие на лавочках и у большого стола, поняли, что раз один из незваных проник, то и их черед пришел поздравить Костю Михалева и молодоженов, и поодиночке и попарно потянулись к веселью вливать в него свежие свои силы.

Вдруг кто-то крикнул Лапинскому:

— Леня, а ну неси баян!

Лапинский замер от неожиданности и, пронзив указательным пальцем жалобное пенье комаров, строго сказал:

— Нельзя. Не тот случай. Десять лет не игрывал. А тут свадьба, и нужен мастер — не нам чета.

— Поди продал! Так и дыши.

— А нет. Как можно — трофейный.

— Так принеси, Леня,— попросил и Константин Андреевич.

— Разве только для тебя, Костя. Ты же друг, твое слово закон. В один миг. Да для такой невесты.

Через десять минут принес он старый свой баян, который Казанцев помнил с раннего детства, и попиликал немного для разгона, а потом «барыню» сыграл, а уж немного потемнело и в размытых сумерках плясали куда как охотней чем при свете ярком, и Лапинский сыграл танго «Спи, мое бедное сердце», а потом и вальс «Дунайские волны».

Кружились, плясали люди, словно б долгое время не веселились и теперь хотят не только наверстать упущенное, но и раскрутиться на несколько лет вперед, и звук баяна, давно забытый во дворе звук, на-

поминал людям постарше о давних тех временах, когда здесь же, в этом же самом дворе, по субботам и воскресеньям устраивали танцы под баян ли Лени Лапинского, под музыку ли портного Фомина,— это праздник, и все мы вместе, одна семья, жались к центру двора, да и понятно — в скудные те годы необходимо было теснее прижаться друг к другу, чтобы согреться и устоять, это уж потом земля вроде бы поскорее начала кружиться, и центробежная сила отрывала людей, выбрасывало из круга это чертово колесо — колесо смеха, и по касательной летали они к своим жилищам, все реже и реже устраивая общий праздник, когда ж выяснилось, что и одной пары не набирается, танцы прекратились вовсе.

А те, победные танцы под пальбу из крепости, навсегда запомнил их Казанцев — повсеместный безоглядный этот праздник, какую беду стерпели, стягивались из других дворов, целовались, плакали, так согрей же скорее сиротскую рваную душу, уж теперь-то веселье не остановится до конца дней.

Забросили подальше старые гармошки, думали, никогда не будет веселья всем двором, но вот ошиблись — Костя Михалев собрал всех вместе, и как это славно, оказывается, утром думали, что вокруг чужие, но нет — все здесь свои.

Так больше веселья, кружащийся в вальсе, веселей, веселей еще, сил, говоришь, больше нет, ложь это — есть, есть силы, много накопилось их за дни и годы без всеобщего согласного круженья.

Они танцевали со всеми, Казанцев и Лена, а когда устали, сели на скамейку к Раисе Григорьевне.

— Вам не было скучно? — спросил Казанцев.

— Нет. Пока вы танцевали, я внимательно разглядывала часы, которые сделал твой отец, Володя. Ты

знаешь, это вещь удивительная. Правда, я не все поняла, но через несколько дней зайду снова и, надеюсь, все пойму.

— А не опоздаете?

— В каком смысле? Вот там, в левом углу...

— Я этого и боюсь весь день, — перебил ее Казанцев. — Не спорю, вещь красивая, и даже то, что у нее несколько показателей и она без металлических частей, уже удивительно.

— И чего же ты боишься?

— Я боюсь за отца: что с ним будет через день-другой, когда часы остановятся. Меня одно утешает — я уеду и ему хоть передо мной не будет стыдно.

— А почему они должны остановиться? — удивилась Раиса Григорьевна.

— А вы верите, что они будут идти долго?

— А ты в это не веришь?

— Видите ли, Раиса Григорьевна, возможно, я плохо знаю английский язык, но физику-то в пределах школьной программы я знаю.

— Это хорошо. И что из того?

— Так ведь вечный двигатель построить нельзя. Более того, много лет проекты вечных двигателей даже не рассматриваются.

— И это жаль.

— Да что жалеть о том, чего быть не может.

— Не в этом дело, Володя, — печально покачала головой Раиса Григорьевна, — мне иногда жаль тебя и твоих сверстников. Вы хорошие ребята, но иногда я думаю, что школа дала вам слишком реальное образование.

Казанцев захотел напиться воды. Он взошел на крыльцо, через коридор прошел в кухню, открыл кран, подождал, пока будет литься холодная вода,

затем попил мелкими глотками из кружки, напившись, поставил кружку на прежнее место и, уже поворачиваясь, чтобы выйти из кухни, в проеме двери, ведущей в комнату, где только что стоял свадебный пир, в тусклом свете, падающем из окна, увидел часы, которые делал его отец.

Рядом с часами стояли этажерка с книгами, шкаф, виден был край стола с беспорядочно стоящими подле него стульями, но взгляд останавливали только часы. Было в них что-то, что притягивало к себе, выделяя из окружающего мира, матовый их блеск призывал взглянуть на счет времени.

И Казанцев стремительно вошел в комнату.

Часы показывали время, близкое к полуночи, вернее, двадцать три часа девятнадцать минут. Сейчас, узнав время, он мог отойти от часов, но, однако, что-то мешало ему. Он чувствовал как бы угнетение воли: с одной стороны, уйти необходимо, потому что там, во дворе, его ждут Раиса Григорьевна и Лена, с другой же стороны, он догадывался, что вот именно сейчас сумеет понять что-то важное для себя, необходимое, даже решающее.

Прежде всего, что изменилось за то время, что он здесь? В самом деле, зачем он сюда приехал? Ошибка или удача — этот его приезд к родителям? Часы показывают время, но что есть время? Пожалуй, это короткий миг, который отпущен людям именно для того, чтобы успеть хоть что-то понять. Да, как раз понять, себя понять, жизнь свою оценить и понять, другого человека понять, все понять. Конечно, невозможно это всеобъемлющее понимание, но хотя бы стремление к нему быть должно. Не скупиться, не щадить себя, но не жалеть сил и тратить душу столько, сколько необходимо, чтобы понять другого че-

ловека. Вот на что, пожалуй, отпущено время, а следовательно, и твоя жизнь.

Впрочем, что говорить о людях дальних, о тех, кто прошел мимо тебя, а ты их не только не понял, но даже не заметил. А близкие люди! Как случилось, что с Надей они стали людьми если не чужими, то во всяком случае не близкими? Откуда у нее равнодушные к его болезни? Проще всего винить другого, ну а сам-то он, так ли уж ни в чем не виноват? Если человек даже в малостях старается ничем не обеспокоить душу — усилием ли, страданием — и душа проспала, либо ее не было вовсе, и вот когда однажды она проснется — от несчастья ли, оттого ли, что твоего времени осталось мало, — тогда горько, тогда жжет в груди, и безнадежно вздыхает человек, все люди вокруг чужие, никто-то тебя не понимает, жизнь пропала. А вместе с тем жизнь человека, чей ум не знал покоя, а душа дремы, пропащей быть не может.

Казанцев подошел к распахнутому окну. Танцы продолжались. Свесив голые ноги, на крышах сараев сидели мальчишки. Двор был полон. Сумерки были так густы, что лица танцующих казались смутными, а движения их — замедленными. Казанцев медлил возвращаться, потому что знал, что ему сейчас важно и необходимо быть в одиночестве. На крыльце стоял отец. Он улыбался, глядя на танцующих людей. А Казанцев подумал, что он, в сущности, ничего не знает о своем отце. Лишь то, что сообщала мать. Старейший чудак. Никаких забот. Доживает на пенсии отпущенное. Отец, считал Казанцев, что ни говори, человек не очень удачливый, и жизнь его не сложилась. И вот пока все так считали, отец делал эти

часы. А Казанцев ничего не знал. Стыд — вот плата неизбежная за лень души.

И он поспешил к отцу. Павел Иванович по-прежнему стоял на крыльце один. То есть кто-то даже стоял подле и сидел ниже, на ступеньках крыльца, но видно было, что это люди вовсе ему чужие. Казанцев встал рядом с отцом.

— Вот в комнате постоял,— сказал Казанцев.— Никого не было, рассмотрел часы как следует.

— Да уж видел, как ты вошел в дом и застрял там.

— А кроме часов там смотреть не на что?— усмехнулся Казанцев.

— Так ведь, Вовчик, там все временные вещи. И как часы?

— А хорошие часы.

— И идут, выходит?

— Идут, выходит. Я успел кое о чем подумать возле них.

— А как же! Они так и задуманы. Вот чтобы человек не неся мимо них сломя голову, а так это спокойненько постоял. И что-либо сообразил. Если, конечно, есть чем соображать. У тебя, выходит, есть. О себе поди соображал?

— Ну, и о себе, и о тебе, и обо всем помаленьку.

— Ну, так они и задуманы. Так и хотел. И что же ты такое о себе соображал?

— А то, что вот спешу я все время.

— Да вроде сейчас ты не спешишь. Даже вроде папашу своего заметил. Подошел, видишь, к нему, вроде пожаловаться хочешь.

— Да, сейчас не спешу. А так — все время суетился.

— Да, это дело последнее. И что же ты такое обо мне соображал?

— А то, что ты отличный мастер, а я этого не знал.

— Думал, папаша струг-поструг и пыль с ушей стряхивает?

— Да, примерно так,—признался Казанцев.

— Или же вообще на этот случай ничего не думал?

— И это тоже.

— И что же — выходит, промахнулся?

— Выходит, так. Хотя думал, что настоящего мастера за версту видно.

— Так то за версту, Вовчик. А у себя под носом кто ж это разберет. У тебя ли одного такая промашка вышла? Да за все годы хоть бы кто поинтересовался — а что ж это такое человек варганит? Так нет же. Ни одна душа. А так ли просто постругивать да все думать — а ну как ты завираешься, что тогда, это ж в небо пустой плевок получится. Не так это все и просто. Да и ты, если что у тебя не так, терпение поймей. Не так это и просто бег остановить и по сторонам поглазеть. Это ж не от хорошей жизни люди останавливаются и на часики посматривают.

— Ну, я ладно, я не знал, что ты делаешь, оглох, положим, на время. Ну а ты-то?

— А что я? Я сам. То и ценно, что сам, без тычков под бока. Но это что! Ты, это самое... просьба у меня к тебе... как бы сказать, ну, словом, если говоришь, что часы понравились, то как бы это... мамаше своей не позабудь сказать... Евдокии Андреевне то есть. Я ведь для нее, как водится, не авторитет. А ты — дело другое, вроде со стороны, и ученый, ты авторитет, получается. Так не забудь тогда.

— Это обязательно:

— Только ты... это самое. Ну, она мне иной раз это укоры посылала, втыки, так скажем, делала. Так ты о том не вспоминай.

— Хорошо.

— И договорились. И рад, что тебе понравились часики. А ты теперь иди — ждут тебя. Учительница. И кое-кто другие. Так ты иди. А я малость постою.

Казанцев подошел к Раисе Григорьевне и сел на прежнее место: перед ними на вытоптанной площадке все длилось веселье, и вдруг Казанцев почувствовал то же беспокойство, что было в нем вчера, что бывает с ним всегда перед приступом — крутит душу, тшнотворный звонок в затылке, — и уже понял, что поздно глотать таблетку, что беда случится сейчас.

— Что с тобой? — спросила Лена.

— Ничего. Пройдет.

И тут догадался Казанцев: новое непривычное состояние — это не близкий приступ, это совсем иное, очень напоминающее болезнь, но ни разу в жизни им еще не испытанное, — Казанцев понял, что он просто-напросто сегодня счастлив, и это не догадка, но непоколебимая уверенность.

И его обожгла внезапная и острая любовь к окружающим людям, к тем, кого он помнит с детства, и он любил не только всех людей вместе, но и каждого в отдельности — Раису Григорьевну и Лену, Константина Андреевича Михалева, дядю Костю, как звали его когда-то, кумира дворовых мальчишек, какого змея запустили они однажды всем двором, дядя Костя его вогнал в точку, так что змей исчез вовсе, улетел, и Казанцев долго потом надеялся, что змей где-то летает и еще вернется; Петра Андреевича, Казанцев помнил, как однажды, лет двадцать пять на-

зад, приехал сюда в отпуск Пётр Андреевич, поскрипывали его сапоги, постанывали ордена и медали, он сидел на этом крыльце и разрешал мальчишкам трогать его погоны и награды; и Леонида Лапинского, никогда не унывающего баяниста, первого в городе весельчака,—сейчас Казанцев любил всех, и это была любовь к своему давно отсвистевшему детству.

— Я думаю, Раиса Григорьевна, что все, в сущности, просто,—вдруг сказал Казанцев.—Люди могут быть счастливыми. Нужно только, чтоб тебя окружали свои, близкие тебе люди. Я думаю, что сделал ошибку, уехав из Фонарева.

•— Насколько мне известно, самые большие суда, которые строят в Фонареве, это лодки для рыбаков-любителей. Тебя, конечно, здесь все любят, но я не думаю, чтобы для тебя построили верфь. Не обманывай себя, Володя. Может, это и красивый обман, но все-таки обман.

— И все же мне было бы легче: меня все знают, здесь мой дом, здесь все проще: веселье — это веселье, дружба — это дружба.

— Мне кажется, я вас учила: дома ли ты живешь, вдали от него, удачлив ты или нет, нужно быть человеком, и только. Ты сам знаешь, что все в самом человеке, а не в том, где он живет.

— Да, конечно,—согласился Казанцев. Спорить он не мог, потому что хотел сохранить в себе сегодняшнее состояние — задержанное счастье.

Прыгали, кружились люди: что загадывать человеку, когда будет его обрыв, вот сейчас он вместе с людьми, которых не видел много лет, а не веселился с ними и того больше, сейчас он неотрывен от них, от их бед и радостей, центробежная сила лишь на некоторое время вынесла его в иные пространства, но он

снова сумел прибиться к центру, надолго ли, нет ли, кто знает, да хоть на короткий миг, нет, нет, он не проиграл жизнь, даже если выпадет ему нечет — все равно не проиграл.

15

Так и веселились чуть не до полночи, кто-то входил в дом, чтоб укрепить в себе силы, и снова возвращался, чтобы нырнуть в водоворот свадьбы, а солнце давненько уже в залив завалилось, сумерки запеленали землю, утешили ее перед сном, а все плясали, утрамбовывая кочкастую землю, пыль вялую взбивая, и не притомлялись, верный взяв разгон, и Константин Андреевич был доволен свадьбой, гостями, а также самим собой — он хотел, чтоб двор был полон гостями,— так оно и есть, и Константин Андреевич стоял у крыльца улыбаясь.

Улыбался он уже несколько, что ли, часов, он рад был бы согнать улыбку, но она приклеилась к лицу и улетать никак не хотела.

Вдруг к нему подошел зять Николай, был Николай чем-то взволнован, и Константин Андреевич понял, что он хочет поговорить с ним о чем-то очень важном.

— Душно,— сказал Николай.

— Да,— согласился Константин Андреевич. А как не согласишься, если и верно душно, как перед грозой, но закат сегодня был ярко-красным и солнце намекало на завтрашнюю жару.

— Может, пройдемся? — предложил Николай.

Они пошли вдоль сараев.

— Вот что я хотел вам сказать,— начал Николай.— Спасибо я хотел сказать.

— За что же это? — удивился Константин Андреевич.

— Да вот за Таню такую. Что вырастили ее и воспитали. Я ее в обиду не дам. Она такая... Константин Андреевич... она такая хорошая. И спасибо.

Он пригляделся к Коле, не во хмелю ли он, но тот был почти трезв, и тут только до Константина Андреевича дошло, что Коля считает его близким человеком, что переполнила его любовь к Танюше и нужно поделиться с близким человеком. А может, он слышал, что положено благодарить тестя за невесту, но это вряд ли,— тут в словах Коли порыв.

— Все для нее сделаю. Работать буду, все ахнут. У нее все будет. Ничего не пожалею для нее.

— Да что же ей такое особенное нужно? — заинтересовался Константин Андреевич.

— Все будет. Вещи какие хочет, наряды любые. Мебель купим. Вы поверьте: нам все завидовать будут — вот как мы дружно жить будем.

— Дружно — это хорошо.

Конечно, Константин Андреевич хотел бы слово вставить, что жизнь теплая да сытая — дело не главное и даже неинтересное, но это вышло бы поучение, а поучать зятя он как раз не хотел.

— Работа-то нравится тебе? — все-таки спросил он.

— Хорошая работа. И ценят меня. Через год буду сдавать на первый класс, а это уже кое-что значит — первый класс. Да и получку прибавят.

Договорить им не дали — позвали к веселью. Да Константин Андреевич и не огорчился — о будущем

лучше говорить не с пылу с жару, а на голову свежую. Если, конечно, вообще следует говорить.

— Вот вы где бродите!

— Так ведь пять минут всего.

— А ни минуты.

— Да что стряслось? Землетрясение, нет? Тогда наводнение?

— Гуляние!

— Что гуляние?

— В парке гуляние! Газеты надо читать.

— А мы исключительно радио слушаем.

— Неделю писали — народное гуляние. Всю ночь оркестры, буфеты с аттракционами.

— С чего это им так раззудилось?

— Встреча белых ночей!

— И верно: белые ночи приходят.

— Так и есть такое предложение: присоединиться к народу. Не отрываться от него.

— Добро!

— Повалили, значит?

— Повалили.

Леня Лапинский для отхода заиграл марш, и парни, друзья жениха, врубили «Прощай, не горюй, напрасных слез не лей». Конечно, не обошлось без потерь — Раиса Григорьевна и все Казанцевы отстали, а Вера Ивановна с Анной Васильевной остались порядок наводить. Прочие же гости медленно двинулись к парку — впереди Леня Лапинский, с ним рядом молодожены, за ними все остальные.

Ну и лихо получится, сообразил Константин Андреевич, это вроде двойного праздника, да такой вот свадьбы, чтоб с гуляньем в парке ни у кого не было.

Будоражили музыкой засыпающий город — а мож-

но, никакая милиция пальцем не погрозит,— и снова началось оживление на улице и в соседних дворах, скорехонько подтягивались те, кто хотел прихватить к веселью еще и часть ночи, ошарашенные музыкой выходили сонные люди на балконы; видя знакомые лица, махали руками, а снизу им кричали — к нам, к нам, да порезвее; а тут еще и последний сеанс закончился, так что, когда переходили центральную улицу, вытянулись метров, что ли, на пятьдесят.

Плавному движению помешал единственный в городе каштан, вернее, не сам каштан, а тщедушный старичок возле него в черном мятом пиджачке и соломенной шляпе. Старичок этот то отступал от дерева на несколько шагов, то подходил вплотную, ощупывая кору.

— Что случилось, папаша? — спросил Константин Андреевич. — Может, клад под деревом зарыт? Только дело пустое — повалить каштан все равно не дадим.

— Что ты, сынок, — продребезжал старичок, — я же сам его и посадил. Женихаться приезжал из Луганска. Вроде невесте в подарок. Я и думать о нем забыл. А стоит. Пятьдесят два года прошло.

— Да еще как стоит, — подхватил Константин Андреевич. — Один на всю округу. Уезжаешь куда-нибудь, хоть и на войну, а вернешься — стоит дерево, значит порядок, все своим путем.

— Вот же думать не думал, что приживется. С тех пор не был здесь, а дерево свое узнал. Жену давно положил, сестру сегодня положил, а ему хоть бы что — стоит!

Его оставили в покое, потому что гулянье, парк, неспетые песни тоже своего требовали, тоже привлекали к себе внимание. Снова спели «Ромашки спрята-

лись», девочки из Таниного окружения под шелест своих шагов — Леня Лапинский не знал мелодии и взял себе заслуженный перерыв — спели «Никакая внешность не заменит нежность, маленького сердца большую доброту», и Колины парни в ответ долбанули «Там, где пехота не пройдет», да под присвист, под прихлоп, под обалделые взгляды прохожих.

Так это весело и незаметно дошли до парка, а он вырос перед ними темно-зеленой горой, опутанный полумраком, лишь над верхушками деревьев угадывался розовый свет, но он был слаб еще против короткого напора сумерек.

Потом прошагали берегом озера, вошли в нижний парк и мимо ларьков и палаток дошли до концертной площадки. А здесь, заметить можно, веселье подутихло, однако ж люди не расходились, ожидая либо розыгрыша приза за лучший костюм, либо очередного концерта, либо какого неожиданного чуда, что всех расшевелит и даст новое ускорение празднику. Так и вот вам: словно бы по команде, маскарадные люди бросились к жениху и невесте и, окружив их, смеялись, улюлюкали, визжали, и черт те что, кого здесь только не было — лисы и зайцы, какая-то каракатица, крокодил Гена, Буратино и свинья, принцесса и Кот в сапогах — ну как раззудилась фантазия людей!

Окружили молодоженов, игру затеяли, гукали, плясали вокруг Танюши, и, посмеиваясь, вышел в центр дружок Николая и отстрелял чечетку под «Очи черные», да мелко семеня, стучал ногами, хлопал себя ладонями по груди, животу и ляжкам и под самый последний «ах» сунул палец в рот и громко выстрелил щекой.

— А теперь я, — не удержался и Пстр. — Тоже хочу. Мне вальс нужен.

Вот бы не позориться на людях, но куда там, разве урезонишь человека, если понесла его струя счастья.

— Неймется. Это будет вальс-чечетка,— объяснил он зрителям.

Кружился, притопывал ногами, приседал, прицокивал языком, и, когда кто-то хотел ему помочь, он сказал:

— Это соло! Это только соло для вальса с чечеткой.

И хоть давно уже так не танцуют, лет, что ли, двадцать, но Петр так весело улыбался и такие ловкие фигуры получались у него, что все только ахали — вот это старая офицерская школа, ну как рукой поводит, ну как каблуки приставляет, вот беда — шпор ему не хватает, а так гусар он да и фу-ты ну-ты.

А потом Леня Лапинский заиграл для всех плясовую, и снова это была «барыня», и зверушки, накопившие во время предыдущего концерта энергию, бросились эту энергию тратить.

Взяли невесту в плотный круг, кривлялись перед ней, зайчишки прыгали на одной ножке, особенно удачно шло дело у свиньи, она переваливалась из стороны в сторону, красный язык показывала и очень уж ловко хрюкала, и ну разлетелись, раскудахтались, распетушились, так что Таню с трудом удалось вывести из маскарадного круга, и тогда Константин Андреевич дал своим сигнал двигаться дальше, оставив на растерзание Леню Лапинского,—тяжкая потеря, но да и людей понять следует.

— На аттракционы двинем! — сказал сияющий брат Петр.

— Верно! Каруссли!

— Вот же. Все места и займем. Чтоб только свои — здорово!

Поднялись в гору, снизу неслись всхлипы Лениного баяна, а здесь уже тишина стояла, сонный шелест деревьев, раннее оживление птиц.

Но то было лишь короткое мгновение тишины: снова донеслась до них музыка, и это звали их к себе аттракционы.

Эдуард Хиль пел «Даже время отступает, если счастлив человек». Пластинка кончилась, раздавалось шипение, но, верно, у карусельщицы и без музыки было много забот.

— Здорово, Манюня, — узнал Константин Андреевич женщину, пускающую карусель, — довоенную еще знакомую.

— Здорово, Костяшка. Что за веселье у тебя?

— Дочь выдаю.

— Так покружить?

— Ну. Только всех разом. Уместимся?

— Постараюсь.

— И про музыку веселую не забудь.

— Это уж как есть.

Шумно рассаживались, Манюня следила, чтоб люди тяжеловесные садились на скамейки, а тех, кто полегче, разместила на конях, оленях и слонах.

— Готовы? — крикнула снизу Манюня.

— Готовы, — ответили ей.

Карусель пошла, и перед глазами Константина Андреевича Черномор нес Руслана, черный кот грустил на плече Иванушки, конек-горбунок летел со своим седоком и жар-птица разрезала огневое небо.

Манюня была занята и не стала менять пластинку, и снова Эдуард Хиль пел «Даже время отступает, если счастлив человек».

Это была ровная сзда по кругу, без тряски и остановок, вращались деревья, маски людей, оставшихся на земле, на соседней площадке вращались высоко в небе самолеты, на верблюде сидел брат Петр, он что-то кричал Константину Андреевичу, но тот из-за музыки не слышал его, на скамейке сидели Таня и Коля, и за Таней летела по воздуху прозрачная фата.

У Константина Андреевича было состояние той размягченности, когда кажется, что вот так плавно легишь ты уже много времени, потому что размягченность души никак не по силам сквозняку времени, и Константин Андреевич снова поймал себя на том, что беспрестанно улыбается.

Константин Андреевич был, пожалуй, сейчас счастлив, и вот верная причина его счастья: свадьба удалась, это точно, более того, он уверен был, что все люди, кружащиеся на карусели, как и он, счастливы.

И уже не первый раз за сегодняшний день Константин Андреевич с сожалением подумал — вот как жаль, что Маша не дожила до такого праздника, вот как порадовалась бы за дочь.

Музыка кончилась, и Манюня, бросившись в свою будочку, поставила, верно, первую попавшуюся пластинку. Константин Андреевич, погруженный в собственное счастье, поначалу не разобрал, что за пластинку поставила Манюня, но потом понял, что это Бернес поет «Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой», Манюня быстро сообразила, что не ко времени печальные песни, и поставила другую, но уже что-то стронулось с места, поплыло в душе Константина Андреевича, не дожила, повторял он про себя, не дожила, и вот ведь как жаль, и уж окончательно понимал, что возврата к счастью больше не будет.

Да что ж за устройство это такое, душа человека,— слова неосторожного, взгляда косого, легкого дыхания ветра достаточно, чтоб смешать стеклышки, спутать призмочки, белое превратить в черное, счастье в несчастье; малое движение неосторожное — и покатился под гору снежок, а вот уж и ком, и — моргнуть не успеешь — лавина обрушивается с грохотом, да, лавина, и сейчас Константин Андреевич сожалел, что нет жены, так же безнадежно, как в день утраты.

А улыбка счастья, что приклеилась к лицу, так и не улетела прочь. Это была не улыбка даже, а гримаса, липкая гримаса, и она больно давила лицо, согнать же ее Константин Андреевич никак не мог. Да в чем причина главная печали, отчего все человека в печаль заносит, что именно не нравится ему — жизнь ли собственная, жизнь ли всеобщая, или, подумать даже странно, вселенная ему не по душе.

Сейчас причина была не так важна. Сейчас важно было лишь то, что, когда, пошатываясь — Манюня устроила им вертушку на совесть, — Константин Андреевич ступил на чуть уходящую из-под ног землю, чувствовал он себя непоправимо несчастным.

Тут к нему подошел брат Петр, и Константин Андреевич почувствовал, что Петр чем-то очень встревожен.

Брат потянул Константина Андреевича за руку, подвел к покатою фанерному боку карусели — а там, наверху, уже была суeta людей, тоже желающих получить свою долю верчения, — и, вплотную приблизившись к Константину Андреевичу, спросил:

— Скажи, Костя, почему люди так живут?

— Как они живут, Петр?

— Да что — дите малое, сам не знаешь, что ли? Скучно они живут.

— Да как же скучно, брат? — удивился Константин Андреевич.

— Да вот так, скучно, и все. А тебе-то, Костя?

— Что—мне?

— Жить не скучно?

— Нет, не скучно.

— А не верю. Вот ты для чего живешь?

— Это как?

— Ну для чего ты живешь, Костя?

— А не знаю, Петя. Правда, не знаю.

— Вот видишь, а говоришь — не скучно.

— Вообще-то я знаю, раз дело такое, но и говорить как-то совестно. Уж больно ты впрямую.

— А как не впрямую, раз момент такой подошел: вот ты скажи мне да и все. Но ты, я вижу, просто боишься признаться, что тебе, как и всем прочим, жить того, скучновато.

— Ну, раз ты так, то я скажу, раз для тебя такой момент присквозил, раз приспичило тебе. А не скучно мне, Петр. Грустно — да. Печально — тоже да. Я, может, для того и живу, чтоб мне было печально. Может, я так и отмечаю про себя — вот если мне печально, значит, все со мной в порядке. Да вот еще для того живу — чтоб с тобой иной раз поговорить. Да на Танюху иной раз поглазеть. Да чтоб машины кое-какие наладить, чтоб они картошку исправно возили.

— Ну, хватил. Ты все свое: работа да работа, труд да труд.

— А как же не труд, как же не работа? Труд-то и есть показатель, что за человек перед тобой, а то говорунов теперь много, а вот мастеров настоящих

маловато. А уж если человек мастер — вот он и есть человек настоящий.

— Старая это песня, слышали ее.

— Старая, говоришь? А вот сегодня, вспомни, какие часы Павел Иванович принес. Никто никогда таких не видел. А человек, думали, неприметный, слова лишнего из него не вытянешь, а вот на тебе.

Константин Андреевич вспомнил про часы, и сердцу стало веселее: уж как он рад был за Павла Ивановича, и за себя, и за всех, что вот не перевелись на свете настоящие мастера.

— Так что из того? Он же один такой.

— Это я тебе пример привел. Есть и другие мастера. Может, и не такие, как Павел Иванович, например, но тоже в своем деле все насквозь видят. А если б даже и один, так мастер — он именно и один в поле воин.

Константин Андреевич чувствовал, что брат, захваченный своими мыслями, вовсе его не слушает, он словно бы глухой, делает вид, что слушает внимательно, а сам тянет все одну и ту же песню.

— А вот скажи мне, Костя, не разговаривал ли ты с зятем своим о его будущем?

— Как раз сегодня.

— Ну, и что он тебе обещает? — усмехнулся Петр. Лгать Константин Андреевич не мог.

— Мебель новую обещает. Тане модные наряды.

— А, видишь! — торжествовал Петр. — Ты небось думал — по молодости учиться станет, ум будет развивать, надеялся ведь?

— Надеялся, — признался Константин Андреевич.

— Узнаю тебя. Вот и проглоти. Слава богу, займется тряпками, хоть гулять не будет. А ты говоришь, это не протест против скуки. Да это и есть скрытый

бунт.— Только сейчас Константин Андреевич заметил, что брат на взводе основательном, вот и топчется на одном и том же месте, жуя одно и то же простенькое соображение.— Ты погляди, сколько развелось рыбаков, охотников да грибников? Когда раньше их было столько? Это что такое? Это уход от жизни однообразной. Но ты-то, я вижу, лицо кислишь, не согласен со мной.

— Нет, брат, жить не сладко,— признался Константин Андреевич.— Жизнь моя горькая. Горькая, как полынь. Жизнь — она и есть горькая полынь, брат.

— И она не обрыдла тебе?

— Нет, не обрыдла.

— И ничего в ней менять ты не станешь?

— Нет, не стану.

— А что, Костя, случись дело такое дикое — вот если твердо знать будешь, что завтра исчезнешь, не обрадуешься ли?

— Так нельзя, Петя. Так человек жить не может. Жизнь, знаешь, не заводная игрушка, чтобы без большой ошибки ты мог сказать, когда она остановится.

— Значит, интересно тебе жить?

— Да, интересно.

— И что же за интерес такой у тебя?

— А тот интерес, что вот как любопытно мне знать, что будет с тобой, со мной или с Таней лет через пять или десять. Интересно, и все тут. Люди вон кроссворды разгадывают, а тут своя жизнь,— да разве не интересно? Ну, а ты-то, Петр, согласился бы завтра испариться?

— Да, с удовольствием,— сказал Петр и осекся.

Константин Андреевич понял, почему брат осекся. А ведь думал, что в этот раз Петр уцелеет. А вот жизнь ему и плоха, смысла в ней маловато, это же дело ясное — приступ перед тем, как исчезнуть на несколько дней, иначе как же себя перед самим собой оправдать, не ты виноват, нет, не ты плох, нет, — жизнь плоха и во всем одна виновата.

— Вот что, Петя, — сказал Константин Андреевич. — Наши, гляди, ждали нас, ждали да и разбрелись. Теперь их уже в парке не соберешь. Только за столом. Так давай-ка к дому двигать. Все сейчас тоже подтянутся. Посидим, ночь долгая, еще потолкуем, а, брат?

Но Петр покачал головой, и Константин Андреевич понял, что уговаривать его бесполезно.

16

Нетерпение охватило Петра Андреевича, он вдруг вспомнил, что восемь месяцев не видел Валю, и желание вновь увидеть ее было так внезапно, что он даже задохнулся. Да как же мог он так долго не видеть ее, как жить он мог, и вот что странно — жить Петр Андреевич без нее не мог, это яснее ясного, но ведь все-таки жил — и это всего удивительнее и непонятнее. Хотя жизнью эти прошедшие восемь месяцев назвать никак нельзя. Так — жевал повседневную жвачку, ложился спать и просыпался, ходил на дежурства, потому что надо же спать, просыпаться и что-то там работать, но жизнью то время, что он не видел Валю, назвать трудно.

Он попытался вспомнить ее, но не сумел: только халат ее помнит, только улыбку застенчивую, только

черную аптечную резинку, что схватывала ее светлые волосы. И ведь не вспоминал ее все это время,— конченный человек. А если вспоминал, то сразу всякую память о ней гнал прочь.

Так скорее. Сейчас же к ней. Дорого всякое мгновение.

И ведь как-то сумел спрятать свое нетерпение, чтоб брат ничего не заподозрил.

— Так я пошел,— сказал Петр Андреевич.— Тут дело одно есть. Срочное такое дело.

— Даже до утра подождать не может?

— Нет, никак. Только сейчас.

— Смотри, Петр.

— Да уж смотрю.

Костя отступил, и еще бы — разве же Петра Андреевича удержишь.

— Может, все-таки пойдем досиживать?

— Нет, Костя, это потом. Это все потом. Дело такое. Будь здоров,— и, резко повернувшись, он быстро зашагал прочь.

И уходя, Петр Андреевич про себя поругивал брата — имел такое обыкновение Петр Андреевич поругивать всех, кроме себя самого,— и поругивал за то именно, что брат вспомнил про часы, которые сделал Павел Иванович Казанцев. Петр Андреевич так сообразил, что эти часы отсчитывают время человека, на которого они установлены, но ведь возможно, что есть где-либо часы, что отсчитывают и время самого Петра Андреевича, этого, конечно, даже и представить нельзя, но и без таких часов Петр Андреевич чувствовал, как впустую протекает его собственное время; вот именно когда он разговаривает с братом, оно и протекает впустую, вот тогда-то и схватило его

нетерпение, вот тогда он и вспомнил, что восемь месяцев не видел Валю.

Что-то говорил с братом, что-то спорил, еще рассчитывал, что это случайное, временное нетерпение и оно скоро пройдет, но оно — вот беда — все сильнее жгло Петра Андреевича.

Скрывшись за деревьями, он даже побежал под горку к мостику над речкой — дорога каждая минута.

На мосту он шаг сбил, глянул вниз, в долину, — там, повторяя изгибы речки, цепляясь за прибрежные кусты, ползли густые сизые туманы.

Он постарался снова вспомнить Валю и снова не сумел. Ну, ничего, успокаивал себя, это уже недолго осталось, это всего десять минут. Думать о том, что Вали нет дома — она могла уехать в отпуск, либо за это время уехать вовсе, либо могла встретить человека понадежнее, чем он, Петр Андреевич, — думать об этом не было воли.

Нет, быть этого не может — она дома и ждет его, как обещала когда-то, много лет назад. Должно ведь и ему повезти.

Торопливо вышел он из парка, не забыл, разумеется, оглянуться по сторонам, нет ли кого из своих; это не то, чтобы человек, собирающийся с разбегу прыгнуть в пропасть, боится, что его кто-либо остановит, нет, тут дело в другом — его не остановить, тут дело конченное, но видеть, как он разбегается, видеть его белое перекошенное лицо вовсе никому не следует.

На улице посветлело. Звезды и луна почти растаяли, остались лишь малые, тонкие их оболочки, едва заметные, словно дыхание ранней осенью. Небо на востоке, там, где готовилось взойти солнце, было светло-зеленым, как бы разреженным. Все было тихо.

Шелестели липы у детского сада номер пять. Вдали раздался гудок паровоза — это на Чайку — значит, сейчас десять минут второго. Ночь была прозрачна.

Передохнув, успокоив дыхание, Петр Андреевич заспешил дальше. А вдруг ее нет дома, все-таки осмелился подумать. На то, что она может быть не одна, смелости не хватило. Она должна быть дома, это точно. Только бы так.

А если ее нет, он сядет на ступеньки крыльца и будет ждать, пока не дождется.

Он свернул на Дегтярную улицу, ее пересекала глубокая канава, валялись водопроводные трубы. Петр Андреевич никого не встретил — улица пуста. Пуста была и узкая Колхозная улица.

Скорее, скорее, подстегнул себя Петр Андреевич, малость самая, триста, что ли, шагов. Еще чуть нажать, и он увидит Валю, а увидев, поймет, что все вокруг в полном порядке и что он спасся и на этот раз.

Над большим, в ухабах и ямах, пустырем уже все посветлело — солнца еще видно не было, но оно уже угадывалось по рыжим пожарам на краю неба.

Каждый день Петр Андреевич ходит этим пустырем, но только сейчас вспомнил он, что именно здесь стоял гармонист, когда они брели с Валею в первый день знакомства. А уже прошло семь лет. Так пусть пройдет еще семь и ничего не изменится.

Пустырь упирался в глухую красную стену, и над ней виднелось слово «Лира» — в этом доме музыкальный магазин.

Он обогнул стену, вошел во двор дома, dospешил до среднего подъезда, и здесь, у крыльца, на мгновение остановился — он сейчас увидит Валю. Квартира

спит, он всех разбудит, но что за беда такая, если ему этот звонок важнее, чем сон соседям Вали.

Так скорее, и кто-то словно толкнул его в спину, да с такой силой, что Петр Андреевич, споткнувшись о ступеньку, взлетел к звонку и, уже не раздумывая, четыре раза нажал звонок, и сердце его, испуганное, трепещущее, сдавившее горло сердце, четырежды взорвалось.

Вслед за звонком наступила тишина, не та тишина, что была до звонка — тишина сна, — но тишина испуга, настороженная тишина. Было件нятно, что звонок услышан и квартира затаилась.

Раздался осторожный скрип, кто-то бегло прошуршал к двери и шепотом спросил:

— Кто там?

— Это я, — шепотом же ответил Петр Андреевич и не сдержался: — Да я же это, — и нетерпеливо дернул ручку.

— Вы? — растерянность и удивление. Он уже узнал голос Вали. — Вы подождите. — И уже испуганно: — Только не уходите.

— Да куда же я уйду? — удивился Петр Андреевич. — Здесь я.

Она снова ускользнула в комнату — за ключом, это件нятно, — и вскоре вновь слышно было ее присутствие за дверью, все никак не могла попасть ключом в скважину, и Петр Андреевич подергал дверь — да когда же это, когда.

Дверь распахнулась. В дверях стояла Валя.

— Ты... ты, — говорил он, — не зябко ли тебе?

Она прижалась к нему, закрыв глаза, зубы стиснув, молча стояли они, привыкая друг к другу. Подбородком касался он ее лба. Зубами скрипел, чтобы

смириться с долгожданным, невероятным счастьем — вот он здесь, с нею рядом.

— Вот и вы,— сказала Валя и погладила его лицо.

Он задержал ее руку, и, когда поцеловал ее ладонь, стало так спокойно, словно никогда и не было тревог — все тревоги схлынули, утишилось сердце. Сейчас в нем не было нетерпеливой страсти, нет, он согласен был всегда длить эту минуту — все по местам, все тихо и в полном порядке, он согласен был вечность целовать эту ладонь, смотреть на ее худое, в прежних и новых морщинках, может даже некрасивое, но для него-то самое прекрасное лицо. И теперь Петр Андреевич уверен был, что жизнь его дальнейшая будет течь ровно и беспечно, и время его — кольцо за кольцом — восстановилось полностью.

Пальцами чуть касался он ее худой шеи, так они и стояли в дверях коммунальной квартиры, счастливо улыбаясь тому, что нашли друг друга после долгой разлуки.

— И все спокойно,— сказал Петр Андреевич.— Я теперь уверен — все будет хорошо. А больше не разлучимся, верно?

— Конечно, зачем же нам разлучаться.

— Мы посидим, верно ведь?

— Да, посидим.

— И поговорим, верно?

— Верно.

— Мы поговорим, и все будет хорошо.

— Да,— кивнула она.— Поговорим, и все будет хорошо.

Его звали в парк на гулянье — пойдем с нами, Павел Иванович, пошумим еще маленько, времечко все детское, даже за руку тянули, но Павел Иванович уперся и всем дал полный отказ.

Было потому что желание тихо, никого собой не озабочивая, постоять у дома, на улицу поглазеть и так это обдумать кое-какое соображеньице.

— Пойдем домой, Паша,— звала его Евдокия Андреевна.— Не малые дети — всю ночь бродить. Людям от нас тоже отдых требуется.

— Постояю малость.— Ей тоже был отказ.

— Потом домой придешь или в сарае заляжешь?

— Не знаю. Посмотреть надо.

— Так ведь что делать-то тебе в сарае?

— Как это?

— Вещь-то того... уплыла, караулить нечего.

— Выходит, так. Но малость постою.

Оставшись один, он подошел к старой липе у дома и, привалясь спиной к шершавому стволу, долго смотрел на улицу. Он ожидал хоть каких-то соображений, но все было пусто: вот ведь вещь какую с плеч свалил, надо бы радоваться, но радость что-то не предвидится, надо б, может, печалиться, но и печаль не наклеывается.

Дом уже спал, окна были темны, стояло то короткое равновесие ночи, когда она, ночь то есть, не знает, длить ли ей сухие сумерки, густую предтемень либо сломиться к ясному свету, и вот на глазах Павла Ивановича решила она вроде бы, что темень еще нахлебаются люди, но это позже, осенью, да под желтый падающий лист, под захлип колючих дождей, тогда-то и будет людям темно, вот запечалятся, а се-

годняшняя ночь так устроена, чтоб люди нарадовались на свет круглосуточный, приготовив души к осени беспролазной, так вот на глазах Павла Ивановича предтемень полночная надломилась и вроде бы даже не беззвучно, но словно б дальний взрыв был на горизонте, долгий слабый звон, и край неба посветлел, чуть даже позеленел, и тут растаяли последние слабые знаки ночи — месяц и звезды — и край неба заалел, а там, глядишь, и до выполза солнца рукой подать.

И тут доплыли до Павла Ивановича слова Евдокии Андреевны, что больше ему караулить в сарае нечего и что все доведено до конца. А ведь не задумывался над этим раньше. И точно — пять лет угрохал. А толку чуть или нет? Жизнь его уместилась в эти пять лет. Казалось ему всегда, что до этих пяти лет он и не жил вовсе, а так это, хромал по жизни, чуток перебиваясь в ней.

И сейчас в Павле Ивановиче тлело то соображение, что жизнь его, пожалуй, прошла, что она сегодня, как это сказать, благополучно закончилась.

И вот ведь что: понимая, что делать ему нечего, Павел Иванович не был испуган, не был даже огорчен — это был факт для него настолько несомненный, что даже печалиться бессмысленно. И так это он сообразил: пять-то лет каких было, это же повезло, всякий ли человек таких пять лет получает, нет, вовсе не всякий, но лишь особый счастливец. Да скажи ему в тридцать лет, что будут у него эти пять годков, а потом уж вовсе ничего не будет, он и то, ведая все про эти годы, согласился бы, а в шестьдесят лет — что и говорить об этом.

Даже если бы вещица не получилась, он бы и за холостой прогон пяти лет спасибо сказал, но ведь вы-

шла вещьца, так кому же это посылать письмо с благодарностью?

И тут снова сомнение охватило Павла Ивановича: а полно, вышло ли, и снова захотелось потрогать вещьцу, чтоб убедиться, что годы были нехолостыми, и уйти тогда без печати поражения на лице, и он быстро зашагал к проходу между домами. Но перед решеткой, вернее, перед скрипучей калиткой в решетке шаг посбил — неловко все-таки вторгаться в чужой дом, да за полночь, и пошел медленно.

А быстрее идти и не мог: дома, притиснутые друг к другу, оставляли лишь узкий длинный проход. И после света улицы здесь было так темно, что Павел Иванович шел вслепую, на ощупь, придерживаясь рукой за склизкие стены, спотыкаясь о булыжники, тоже склизкие, здесь была полная тишина, лишь шорох шагов Павла Ивановича, лишь испуганное его хриплое дыхание. Да вот так это, вот так это — тишина, слепота, склизкий булыжник. Шел он долго, и уж клял себя — да зачем же он сюда, да еще добровольно, а ведь в сырости этой тараканы, каракатицы разные, — и уж, не ожидая конца пути, лишь смиренно переставлял ноги, потому что привычку эту воспитал в себе — переставлять ноги, он бы пошел обратно, но и впереди и позади был одинаковый мрак, и он, смутно надеясь, что к выходу ему все же ближе, пойти обратно не осмелился, и точно: не ошибся, точка света показалась вдали, яркая точка света, горящий пучок, и дыхание обожглось радостью — не ошибся, не сбился с пути, — и, уже не смирняя радости, Павел Иванович шаг ускорил и вылетел из бесконечной этой затхлости.

Свет раннего утра обрушился на него, зеленело небо, после долгого беззвучного прохода двор казал-

ся даже шумным — слух Павла Ивановича был особенно чуток, как после всякой опасности, — шелестели клейкие листья, начинали свой день птицы.

Вот крыльцо Кости Михалева, в десяти шагах от Павла Ивановича была вещица, к которой он некогда имел кое-какое отношение.

Павел Иванович взошел на крыльцо и пробрел темным коридором.

На звук его шагов из кухни выглянула Вера Ивановна.

— Это вы? — Как ни старалась она, но скрыть разочарование не могла — ждали вовсе не Павла Ивановича.

— Я свою вещицу глянуть, — просительно объяснил свой приход Павел Иванович.

— Хороший подарок, — сказала Вера Ивановна.

— Да вроде ничего вышло, — согласился Павел Иванович, — так я кое-что посмотрю.

Стол был уже убран от тяжести еды, и на нем уже все готово было к чаепитию — вазы с печеньями, конфетами, вареньями.

Павел Иванович весь обратился к своей вещице. Ах, как она сияла при раннем свете, льющемся в окно. Вот лучшее освещение для нее: не электрический свет, не сумерки, не жаркое солнце, но ровный свет раннего утра. Не яркая, но и не тусклая матовость, не туманит, но и не слепит глаз, нет, ровный блеск как раз зовет взглянуть на счет времени и ничем уже не отвлекаться от этого счета.

Павел Иванович вспомнил, зачем он пришел сюда, — вот именно взглянуть на счет времени в верхних углах вещицы, и все получалось правильно: счетчик в левом углу отставал от такого же счетчика в правом углу на двадцать восемь минут. Да так оно и

есть: уже чуть не полчаса утеряно в первый же день отсчета; двадцать восемь минут холостого прогона — заварушка ли какая вышла, перебранка пустая — ка- нули полчаса. Вот уж как вышло. Как и замышля- лось.

И снова Павел Иванович убедился радостно: все вышло, как он хотел. Вещица эта нужды в нем боль- ше не имеет, он ей больше не нужен. Да ей и никто не нужен. Ее подтолкнули, и она пошла себе считать время чьей-то жизни. И безразлично ей, чью жизнь она считает, существо бессловесное,— не считать она уже не может.

Павел Иванович понимал, что дело даже и жесто- коватое выходит: кому это понравится видеть каждо- дневный укор холостому протеканию собственной жиз- ни, но лишь на человека правдивого и бесстрашного вещица рассчитана. А Таня, основательно надеялся Павел Иванович, такой именно человек и есть. Хотя штука ведь какая выходит: человек пугливый и кри- водушный не сообразит даже, к чему указан счет в левом углу,— счет напрасный, подумает, завирается старый чудаки, изрядно барахлит его машинка.

Не сообразит, что все в машинке точнее точного, вот только глаз надо иметь прямой и кое-какую сме- лость.

И понимая, что он выиграл, Павел Иванович вы- прямился и победительно качнулся на носках. Однако сознавал себя Павел Иванович победителем лишь го- ловой, сердце же его — молчало. Привыкший за по- следний час к соображению, что жизнь его полно- стью прошла, он вместе с тем ощущал, но не горячо, сердцем, а отдаленно и как-то в отчуждении, что жизнь его полностью удалась, что он был в ней не гость случайный, но хозяин, и что другой судьбы для

себя он выбирать бы не стал. И это сознание было в нем твердо.

Не сделай он эту вещицу, и жизнь его имела бы смысл малый, копеечный. Не потому, конечно, что всякий человек должен делать такую же вещицу, но каждый человек обязан делать то, что ему назначено, и тут быть не должно кивков на семью, время туманное, быт неухоженный. Всегда будет семья, и время туманное, и быт неухоженный. Когда ищешь оправдание своему неделанью либо отступу, то сердце твое, девка блудливая, всегда его тебе услужливо под-сунет.

И сейчас, понимая, что он выиграл свою жизнь, чувствуя, как рядом протекает, шелестит, поскрипывает время, Павел Иванович сводил счеты с собственной жизнью.

Его малое внимание и скупость души к детям сейчас не имели никакого значения: как только он исчезнет, они все равно почувствуют себя сиротами.

Жене ж его Евдокии Андреевне станет легче без забот о нем, и, хоть некоторое время ей будет скучно без него, это пройдет: скука — не тоска, она проходит быстро. И Павла Ивановича радовало, что он никому и ничего не должен. Был должен лишь себе, но он сделал взнос и долг погасил полностью. И можно так это спокойненько уйти.

Но нет, что-то, однако, тревожило Павла Ивановича и спокойно уйти сейчас он не мог, словно это от него зависит — уйти сегодня или завтра, или, предположим, через год, и вот что: есть, оказывается, и у него кое-какой должок. Довольно-таки важный. Вот почему сердцу не горячо от победы, но так себе, пустовато. Чуть было не выронил из памяти — кое-что уладить нужно. Только тогда сердце освободится и

к радости тронется и радость никогда уж его не оставит.

И дельце это малое требовалось уладить вот прямо сейчас.

И, сорвавшись с места, Павел Иванович торопливо прошел коридором, ссыпался со ступенек, торопливо засуетился к дому. Сейчас, сейчас он все выяснит. Вот ужалил его страх, вот сорвалось дыхание.

Он смотрел под ноги, чтоб ничто не мешало его суетливому проходу, не оглядывался по сторонам и плоским затылком чувствовал, что солнце уже встало и оно налилось юной жаркой кровью.

Вдруг вспомнил, как ожгло: так же шкандыбал он этим двором тридцать, что ли, с лишним лет назад. А не вспоминал ни разу. Память ли отшибло, или же он нарочно укорачивал ее, память свою услужливую. А этим именно двором и шел тогда.

А какой декабрь стоял, слякотный, безморозный, продирался сквозь маслянистый туман, такой густой и плотный, что теперь его уже никогда не отдерешь от земли.

Помнит: вот на этом столбе мотался со скрипом фонарь, чернел осевший снег, вдруг схлестнулось тогда дыхание, а в окне над входом свет горел, и понимать следовало, что все дома сейчас, только как это узнают Павла Ивановича: три года отсвистело, каких три года, битая шинелька, сидор, старые кирзачки, серебрится нечистая щетина, врезались грубые шрамы морщин, но свет-то горит, и Павел Иванович не сумел-таки сдержаться и вроде заспешил, как сумел, и на крыльцо взошел, и почти вполз на второй этаж — не приноровился еще к укороченной ноге, — толкнул дверь, осторожно вошел в коридорчик и без стука отворил дверь в комнату.

— Дуся! — позвал он женщину, сидевшую у окна.

А как бросилась к нему, как лицом ударилась в грудь, захлебом, в голос полный, как плакала — да, братцы, времена какие ж были, слез и горя времена, скорых встреч и разлук навеки и еще, выходит, и любви. А Вовчик у ног вьется, за полу шинели тянет.

— Дуся,— сказал, кое-как успокоившись,— все это, пожалуй. Для меня война — тю-тю. Вчистую. На семь сантиметров, отметь так это. На паровоз теперь никак то есть.

— Ты пока помолчи, если что, Паша! Живой! Не сошелся свет клином на паровозном гудке.

— Это уж как отметить.

Вечер возвращения — тут одна радость, туман, захлеб, да нет мне без тебя жизни, Дуся, и быть не может, а без тебя, Павлуша, жизнь моя разве возможна, это уж так, прозябание одно. Да ведь что-то уж было в них. Да куда ж все сплыло? А что-то ох как было! И не то чтобы молодость — это уж помахало ручкой, так что и след простыл,— а вот именно что друг без друга никак на белом свете жить не можно. Так в нем это тогда и засело. Знал — на всю жизнь засело.

Ах, вот оно как, вспомнил сейчас, да куда же испарилось все это? Как ни считай, а растаяло все, ветерком слабым рассквозилось. А много лет утешал себя: ну нет, еще вовсе не поздно, никак то есть не поздно, и он успеет еще себя показать. И что? А то, что вроде показал, обозначил. Но — беда, она как есть беда — малость поздновато. И вот сейчас дело одно срочное уладить требовалось.

Павел Иванович взобрался по лестнице, вошел в квартиру, захотел напиться и, когда наклонялся к

крану, задел ногой стоящий на полу бидончик из-под молока, и бидончик прогромыхал по полу.

— Вовчик? — спросила его Евдокия Андреевна.

— Нет, это я, — огорчил ее Павел Иванович.

— А-а, ты, — протянула Евдокия Андреевна, его бы она, ворочаясь и крехая, ждать, разумеется, не стала бы.

Но то, что требовало срочного выяснения, как раз и связано было с Евдокией Андреевной. А уже предчувствовал, что прогорело все, но, однако ж, удержаться уже не мог — ведь прокрути все в душе, отхромай назад на самую малость, потерпи чуток — само все прояснится, туманец на пыль земли осядет, но нет, все ему, вишь ты, все надо знать вот прямо сейчас.

Он встал в дверях и, бочком протискиваясь в комнату, жалобно так это окликнул жену:

— Дуся! — И она прервала ворочанье свое, замерла в ожидании следующего зова. — Дуся! — снова жалобно позвал Павел Иванович. — Ты прости меня, Дуся. Я сгубил твою жизнь.

Не ворохнулась. Так замерла. Недоумевает, что этот ее перестарок натумкал еще. А ведь не спит, это ему понятно. И долго лежала без всякого движения вовсе.

Вдруг рывком села — где прыть-то заняла — и ноги тяжелые, уже малопослушные с кровати спустила и воткнула их в комнатные туфли. Волосы ее спутались, и она их чуть пригладила. Подняла голову и внимательно посмотрела на Павла Ивановича.

— Ты спятил? Ты с какой цепи сорвался? — голос же не гремел, как обычно, был тих и насторожен. Словно б ждала подвоха какого. Но только какого

подвоха можно ждать от Павла Ивановича, да никакого, ни боже мой, ни самого малого.

— Да только вот я подумал... это самое... и думаю.

— Что ж ты такое думаешь?

— Помру я скоро, Дуся,—спокойно, словно б о деле вовсе решенном, пожаловался Павел Иванович.

— И когда ж ты это затеял?

— Да скоро. Точно кто ж это сказать может? Но чувствую — скоро. Вот-то и подумал: ну, я ладно, как хотел, так и перебивался, но тебе-то... это самое... как сказать... за что же это такое? И мне все понятно — сгубил я твою жизнь. Вот оно как получилось,—и он завздыхал, задавленный жалостью к ней, уже не сомневался — вхолостую потратила она на него жизнь, а как теперь поправишь усквозившее.— Так и ты... того... Дуся, простила бы меня, что ли.

— Ну-ну, поговори, никогда такого не слышала. Что ты еще подвыкатишь?

Но уже знал Павел Иванович, что она малость испугалась за него — в своей ли он тарелке, но уж он, чего хотел добиться, добился — слушала она его серьезно, а не вполуха.

— И так это если сообразить, что за жизнь у тебя вышла — чих, плевков, насмешка голая, а не жизнь. А я-то хоть бы мужик был, а то намек один да и только. Дома и не держался почти. Одно хорошо, что к другим юбкам не вязался, да и то потому, что как прибил к твоему подолу, так возле него и прошкандыбал. Вот девочки сегодня пели: серебряные свадьбы бы то, серебряные свадьбы се, а у нас когда хоть была серебряная свадьба?

— А и верно — когда? Мы сколько это лет вместе?

— А не сорок ли?

— Да нет, поменьше, думаю.

— Ну, мне... это самое... было двадцать девять.
А сейчас шестьдесят семь. Это сколько выходит?

— Да уж много.

— То-то и оно. Да разве же жизнь у тебя была со мной? Тыфу ты да и только. Ну, я пускай, я ничего, положим, и не стою. Но ты-то какая была, — и, по горло опущенный в жалость к жене, Павел Иванович потерянно развел руками.

Так вот, как мелкий песок, проскользила меж его пальцев ее жизнь. И утрата эта была так для него велика, что жизнь собственная казалась Павлу Ивановичу ничтожней последней ничтожной песчинки.

— Подь сюда! — велела Евдокия Андреевна.

— Это зачем еще? — спросил Павел Иванович, ожидая голой насмешки. Но ко всему привык, заду-бела кожа, выдержит еще одно принижение.

— Я сказала: подь сюда.

Что же делать ему, а делать нечего, и подошел и встал перед ее лицом.

— Наклонись! — велела она.

Уверенный в близкой насмешке, он уже смирился и голову склонил перед ней, а она постучала по его лбу костяшками пальцев — и не то чтоб слегка, но больно — и, оттолкнув его лоб, так сказала:

— Дундук ты, Паша. Дундук и уши холодные. Это ты меня пожалел? Видали, гусь какой выискался. Да это я тебя всю жизнь жалела. Я, может, для этого и приспособлена была. Я тебе хоть раз на свою жизнь жаловалась?

— Еще как. Я такой, я сякой, я не человек вроде, а комашка.

— Это я тебя ругала. И правильно делала. Но на

свою жизнь я не жаловалась и не жалею, так уж и ты ее не жалея. Я тебе хоть раз говорила, что зря с тобой совместную кашу заварила?

— Нет, пожалуй.

— То и оно. Другая жизнь, может, слаще меда показалась бы. Но да мне чужого никогда не было нужно. Я тебе скажу, Паша,— кроме тебя, я другой жизни даже не нюхала, не то что не пробовала. Может, она и горькая была, моя жизнь, но ведь другой-то у меня не было, так что мне она и сладка.

— А ты не врешь?

— Не вру. Толку мне что врать? Было бы по-другому, так и сунула бы тебе кукиш под нос, чтоб не заносился. Да ночью не заводил вот такую музыку.

— Но ведь дело такое подперло.

— Ну и укладывайся помаленьку. Нечего колдобродить. Или все не нарадуешься?

— Да, не нарадуюсь.

А он, и верно, рад-радешенек был: не солгала ему Евдокия Андреевна, правду сказала, sluкавь она, он бы в такую минуту усек бы любое лукавство, все точно — не жалеет она о своей жизни, она, видишь ли, его жизнь жалела, а что жалеть его жизнь, ведь вон какой удачной она была, да удачнее и не бывает, пронеслась, да не впустую, но кое-что оставив по себе, на какие-либо даже не очень короткие времена.

И Павел Иванович долго стоял у распахнутого окна, глядя, как наливается тугим светом раннее утро, как заплясали розовые блестки на глухой стене у кочегарки, удивительная штука с ним случилась — это его жизнь, такая вот удивительная, что даже не жаль ее из рук выпустить.

Праздник еще кое-как продолжался, но то был уже чужой праздник — своих же нигде не было, и тогда Константин Андреевич неторопливо пошел к дому, основательно надеясь, что все его давно ждут за столом.

Так-то веселье в парке притомилось, лишь слабые всхлипы его доносились, на дороге лежала маска, Константин Андреевич поднял ее, то была маска лисичы, в придорожной траве валялись пустые бутылки, лежали обрывки газет, остатки пищи — мусор веселья.

Небо вдали опалилось желтым фейерверком, и под полыхание неба почувствовал Константин Андреевич, что праздник сегодняшний уж заканчивается вовсе, что завтра если и соберутся люди, то это уж будет так, докатывать свадьбу. Более того, показалось ему, что и жизнь его собственная основательно подустала, и с таким вот предчувствием Константин Андреевич никак согласиться не мог.

Идя по главной улице, он успокаивал, даже уговаривал себя тем, что впереди у него долгое время, интересная жизнь и в ней есть то, что обычно называют главным смыслом, — жизнь дала ему понимание станков, умных машин, сноровку, умение управлять ими и сделала его вот именно мастером. Да что такое — жизнь проходит — слова пустые, конечно, проходит, как иначе, но ведь никто его в этой жизни не унижал, как и он сам не унижал никого, ему бывало печально, но стыдно ему не было никогда.

Вот так уговаривая себя, Константин Андреевич дошел до своего двора. По пути встречались ему праздничные люди, на мостовой перед гастрономом мо-

Лодержь залпхвaтскн тaнцeвaлa пoд тpaнзннстoр,—
удaлcя пpaздннк, вce пoлyчнлocь oтлнчнo, дyмaл Кoн-
cтaнтнн Aндрeeвнч, нo чyствoвaл, чтo cаm-тo oн нз
oбщeгo oжнвлeннa yжe выпaл.

Bo двoрe вce былo тнхo.

— Кocтeя! — пoзвaл eгo ктo-тo cвepхy.

Кoнcтaнтнн Aндрeeвнч нe мoг пoнять, oткyдa зoв.

— Кocтeя! — oклнкнyлн eгo eщe paз.

И тoгдa в paспaхнyтoм oкнe втopoгo этaжa oн зa-
мeтнл Пaвлa Ивaнoвнчa.

— Чтo, Пaвeл Ивaнoвнч? — тнхo cпpocнл Кoн-
cтaнтнн Aндрeeвнч.

— Cпeшншь лн ты, Кocтeя?

— Дa нe тaк чтoбы oчeнь. A вы пoчeмy нe y нac?

— Нe в этoм дeлo. Пocтoй, Кocтeя. Cпpocнть кoe-
чтo нaдo,— н Пaвeл Ивaнoвнч cпycтнлcя вннз.

Вce кaзaлocь зыбкнм, нeycтoйчнвым — н yтpeнннй
cвeт, н дoмa, н лнцo Пaвлa Ивaнoвнчa.

— Кaк бы этo cкaзaть, Кocтeя... пoгoдн... вoт
ceйчac, этo cаmoe. Тeбe вoт кaк ceйчac?

— Ннчeгo, Пaвeл Ивaнoвнч. Cлoвoм, мoжнo
жнть.

— Тo-тo н eсть, чтo мoжнo. Тaк н cмoтpю. Сeгoд-
нa — дa. Чтo, дa кaк, дa длa чeгo, вepнo вeдь, Кocтeя, a?

— Вepнo.

— И yтpo, вoт вндншь, кaкoe. Вpeмeнн нe былo
зaмeчaть. A xopoшee. Вeздe лн тaкнe yтpa, кaк cчн-
тaeшь?

— Мaлo гдe бывaл. Нaвepнo, вeздe пo-cвoeмy.

— A я, Кocтeя, нгдe нe бывaл, кpoмe Фoнapeвa.
Boeвaл н тo в нaшнх мecтax. Пapoвoз вoднл дo Чaйкн
н oбpaтнo. И вce. Мaлocть пoзднoвaтo. Ты нa Югe-тo
был?

— Был paзoк.

— И как там?

— Да ничего. Жарко, и народу много. Не для меня. Я, верно, совсем северный человек.

— А надо бы поездить было. На народишки поглазеть. А то все Фонарево да Фонарево.

— А по мне, так лучше Фонарева нет ничего.

— Оно конечно. Особенно если не бывал нигде. Все ж любопытно.

— Да уж если должен человек быть в печали, так будет, под каким солнцем ни живи.

— То конечно. А все-таки любопытно.

— Пойдемте к нам.

— Нет, я здесь постою. Ровно мне как-то. Ты понимаешь ли это, Костя?

— Понимаю, но со мной так не бывает.

— И со мною впервые. Чтоб совсем ровно и спокойно. И бояться вовсе нечего.

— Да, Павел Иванович, спросить хочу, — вспомнил Константин Андреевич, уже отходя. — Тут я не соображу никак — для чего там у вас левый счетчик?

— А, ты вот про что. Это же проще простого. Неужели не сообразил?

— Да нет, выходит.

— Это же как сказать... Это самое. Вот мы с тобой разговариваем, так? Нужно нам это? Важно?

— Важно.

— Вот они бы и шли. Если б на тебя или на меня установлены были. А если бы мы, скажем, ссорились, они бы приостановились. Но они не на нас с тобой установлены, а на Танюшу. И все. Понял ли?

— Жизнь, что ли, стоящую показывают?

— Ну. Ухватил?

— Ухватил. Здорово! — сказал Константин Андреевич.

— Вот и видишь. А ты то да се. И так вот. Пожалуй, что ты иди. Верно, ждут.

— И то пожалуй,— согласился Константин Андреевич.

Константин Андреевич вошел на крыльцо, ожидая услышать шум веселого стола, но все было тихо. На звук его шагов вышла Вера Ивановна. Лицо ее было бледно, глазами она спросила, где ее муж.

— А где все наши? — опередил ее Константин Андреевич.

— Я это хочу у тебя спросить.

— Никого? — растерялся Константин Андреевич. — Может, меня ищут. Мы заговорились с Петром, все и ушли.

— А где ж твой брат?

Константин Андреевич промолчал.

— Так где ж твой брат, Костя? — снова спросила Вера Ивановна. А уж все поняла, голову опустила, спину ссутулила.

— Он дал деру, вот как торопился.

— Ну, конечно.

— Домой, так понимаю, спешил.

— Ну, конечно,— сказала Вера Ивановна и начала собираться.

— Или же наших пошел искать.

— Вот это навряд ли.

— Ты придешь, а он спит.

— Да и это навряд ли, хоть все возможно.— Она все-таки взяла себя в руки, а он рад был бы пожалеть ее, оставить здесь, чтоб не горевала она в одиночестве, но понимал, что Вера никогда ему этой жалости не простит, она не простит ему даже того, что он знает, что ее Петр на несколько дней исчез. Есть люди, которые всегда хотят быть первыми, и те, кто видит их в

дни поражений, враги для них первейшие. И он не стал удерживать Веру Ивановну. Однако, прощаясь, слукавил:

— Утром приходи вместе с Петром. Мы будем ждать.

— Конечно.

— Спасибо, что помогла. Без тебя мы бы пропали.

И в это время шаги в коридоре послышались. Константин Андреевич ожидал, что это вся честная компания возвратилась, но пришли только Таня с Николаем.

— А где все? — спросила Таня.

— Сами ждем. Вы куда подевались?

— А мы смотрим, что ты с дядей Петей разговариваешь, и, чтоб не мешать вам, дошли до водопада, постояли там, а вернулись — никого, думали — все здесь, — говорит и прижимается к плечу мужа и поглядывает на него глазами застенчивыми, чуть влажными, а у Николая глаза тоже влажнеют от ее взгляда, ах ты черт, да счастливые же они люди, это же с первого взгляда видно, любят они друг друга, это уж точно, и счастье это так уж крепко к лицу прилипает, главное — к глазам, к губам, к дрожанию ресниц, и сердце человека, уже миновавшего счастье такое, завистью сжимается, и колет эта зависть, хмелит голову, жалость к себе накрапывает, уж ты-то взгляда этого, влажного, испуганного собственным счастьем, никогда на себе не остановишь. Да все у них хорошо будет, вдруг уверенно понадеялся Константин Андреевич, он то что за судья такой выискался, любят они друг друга, так все и притрется в случае таком, эх вы, ребята, какие вы еще молодые, жить вам еще да не прожить.

— Ну что, братцы, согреемся на прощанье, да вы и трогайте к Анне Васильевне. Гостей, видно, до утра не будет.

Они вышли на крыльцо, и, когда Таня и Николай, нырнув в проход между домами, исчезли, Константин Андреевич сел на ступеньку и так это в большую охотку закурил.

Он вспомнил недавний разговор с Павлом Ивановичем и подумал: ну, в точку попал Павел Иванович, вот как ко времени его подарок. И то сказать: пока жив на свете хоть один настоящий мастер, все непременно уладится, вот это обязательно.

А уж свет всюду разлился, день новый придвинулся, веселое солнце за домами вспыхнуло, и в утро это прозрачная надежда, как и солнце, душу грела — все теперь ничего, как говорится, все пойдет путем, обязательно все наладится: и у него, и у Тани с Колей, и у всех соседей, да что так далеко заглядывать, — удалась свадьба, и через несколько часов снова соберутся друзья, люди хорошие, и снова покатит веселье, да так, чтоб не остывало оно долго и чтоб память о нем согревала душу не так уж и короткое время.

19

Когда все ушли на гулянье в парк, Казанцев и Лена, как и вчера, пошли проводить Раису Григорьевну до автобуса.

Раиса Григорьевна хотела о чем-то спросить Лену, но Лена, опередив ее, ответила:

— Да, да. Хорошо. Спасибо.

— Завтра увидимся? — спросила Раиса Григорьевна.

— Это было бы хорошо,— ответил Казанцев.

Потом они пошли к железнодорожной станции ближе к заливу, Казанцев тянул Лену за руку, и она едва поспевала за ним. Перешагнули рельсы, обогнули платформы, по шпалам прошли до немых товарных вагонов.

Почти у самой воды неподвижно стояла серая лошадь, растворяясь как дым в клочкастых рваных сумерках.

Последняя электричка дала гудок, едкий и пронзительный.

Они долго смотрели друг на друга и молчали. Молчание это их не тяготило, и Казанцеву казалось сейчас, что прежние их встречи не прерывались.

— Не удалась жизнь,— сказал Казанцев.

— Да, не удалась,— подтвердила Лена.

По шпалам шли два рыбака с рюкзаками за спиной и снастями в руках. Небо над ними горело малиновой полосой, и малиновый свет переходил в розовый, затем в желтый, в желто-зеленый, и там, вовсе наверху, белесо-голубое небо было прозрачно, но это очень далеко, и сейчас рыбаки, негромко переговариваясь, уходили в малиновое пламя рассвета.

Сейчас у Казанцева был тот редкий момент ясно-го зрения, когда человек не может себя обманывать и у него хватает воли видеть все до конца, и потому он свою жизнь понимал как именно неудавшуюся — все эти годы думал лишь о своем деле, о собственном преуспевании в нем, тешил честолюбие, оправдываясь, что прогрессу только честолюбцы и нужны, никого не любил, только себя и свою работу, вернее, свой успех в этой работе, и вот теперь пришла расплата за слепоту, за суету и спешку.

— Ты давно не был в Фонареве осенью?

— За последние пятнадцать лет ни разу.

— Вот когда невыносимо — осенью. Когда темно и дует с залива. Уехала бы куда-нибудь, да только везде одинаково.

Утро вовсе уже наступило, пропал окончательно дымчатый свет белой ночи, яркой полосой заскользило по заливу солнце, зачернели лодки, вспыхнул и закачался белый парус яхты, загудела первая электричка, сзывая ранних пассажиров.

— Ты потерпи, Лена, — тихо попросил Казанцев. — Надо же как-то пережить время своих бед.

В нем была сейчас воля, заключающаяся в желании счастья для Лены и для себя, говорил он обыденные, привычные слова, но верил в то, что говорит, и потому в словах его не было фальши, которая всегда бывает во всем слишком обыденном, и Лена слушала его внимательно и верила ему — здесь ошибиться нельзя — терпеть ложь либо фальшь она не стала бы. Да, нужно пережить свои беды, да, конечно, конечно, мы переживем, переживем.

А только не будет раннего летнего утра, сверканья серо-голубого залива, белых стен фортов, проявившегося в дымке купола Исаакия, нежной, томительной влаги раннего утра, пронзенного посвистами электричек и криками запоздавших рыбаков; распаиванья окон в домах за железной дорогой, синих с розовым подсветом теней от столбов и деревьев, — ничего.

Жизнь отсвистела ранней электричкой. Поздно встретились, и невозможно смирение. Но и слова излишни, жесты никчемны, скорбь позорна.

Однако ж есть или быть должна связь между людьми с неудавшимися жизнями, вот эта общность, это малейшее движение сознания, внятное другому человеку.

Нет, не поздно, все вовремя, мог опоздать вовсе, но успел.

Не прошло и двух дней, как он приехал сюда. Ничего не изменилось вокруг, изменился только он сам. И не было в жизни Казанцева дней важнее.

Они прошли по железнодорожной насыпи и вошли во двор Казанцева.

Двор спал, все было тихо. Красная глухая стена кочегарки и забор за ней уже горели от солнца. Сарай были окутаны легким, прозрачным туманом. Листья деревьев влажно блестели.

Спит двор, думал Казанцев, спят люди, переплетены их жизни одна с другой, и из этих жизней жизнь всеобщая и складывается, неразрывна эта жизнь, уж какая горькая и краткая она ни есть, но она неразрывна.

И не нужно торопиться, ведь рядом, может стать-ся, человек болен или одинок, так не суетись, может, ты сумеешь понять человека и помочь ему или хотя дать совет стоящий.

Казанцев заметил сидящего на своем крыльце Константина Андреевича Михалева. Он сидел и, не замечая никого, улыбался.

Они хотели пройти незаметно, чтоб не спугнуть эту счастливую улыбку, но он, верно, почувствовал в глубине двора чужое дыхание и приподнял голову.

— Гуляете? — окликнул он.

Казанцев и Лена подошли к нему.

— А что ж вы-то не гуляете? — спросил Казанцев. — И где гости?

— Разошлись. Время такое — белые ночи, каждому в отдельности погулять хочется.

— А что, дядя Костя, — вдруг вспомнил Казанцев, — куда змей делся?

— Какой змей, Володя?

— Вы нам однажды делали.

— Так я много раз делал.

— Ну, однажды вы его в точку вогнали. А он улетел.

— Так он за стрелу подъемного крана зацепился.

— А нам сказали, что улетел. Мы верили.

— Я же забыл, что именно сказал вам. Помню, что утром снял его. Совсем он покалечился, было не отладить. Вам жалко было бы его, я и выдумал — летает где-то.

— А катушку вы помните?

— Какую катушку?

— Вы мне жука из катушки делали.

— Ну, и что было?

— А вы тогда палец порезали. И катушку покрасили кровью.

— Не помню такого. Вот если б не я тебе, а ты мне делал, я бы помнил. Да и какие игрушки я мог сделать? Так — пустячок. Вот Павел Иванович — это да. Это мастер, выходит, настоящий.

— Часы еще идут?

— А что с ними будет? Идут, конечно. И большие часы, и справа, и слева. А как же иначе, если их такой мастер делал, как, например, Павел Иванович. А ты что, сомневаешься, Володя? Думаешь, они когда-либо остановятся?

— Да я уж теперь и не знаю, — признался Казанцев. — Может, и не остановятся.

— А ты не сомневайся. Как же это может быть, небось такой мастер, как твой отец, все предусмотрел. На всякий самый пожарный случай. Есть, я думаю, еще не один резерв. Ничего-то, полагать надо, не случится с ними. А вот и он сам, Павел Иванович.

Казанцев поднял голову и в распахнутом окне увидел своего отца.

Отец хотел им что-то крикнуть, он даже вдохнул поглубже воздух, чтоб крик был громким, но, вдруг вспомнив, что за спиной спит Евдокия Андреевна, бегом обернулся к ней, туда, в темную глубь комнаты, снова посмотрел во двор, виновато улыбнулся и помахал им рукою.

*Дмитрий Натанович
Притула*

ПОВОРОТ КЛЮЧА

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1980 г.
208 стр. План выпуска 1980 г. № 63. Редактор
Ф. Г. Кацас. Художник Н. И. Васильев.
Худож. редактор М. Е. Новиков. Техн. редак-
тор Л. П. Полякова. Корректор Е. Я. Лапкин.
ИБ № 1508

Сдано в набор 19.12.79. Подписано к печати
23.05.80. М 30615. Бумага тип. № 1. Формат
70×108¹/₃₂. Литературная гарнитура. Высокая
печать. Усл. печ. л. 9,1. Уч.-изд. л. 8,41.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 1248. Цена 65 коп.
Издательство «Советский писатель», Ленин-
градское отделение, 191186, Ленинград, Нев-
ский пр., 28. Ордена Трудового Красного Зна-
мени Ленинградская типография № 5 Союз-
полиграфпрома при Государственном коми-
тете СССР по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли. 190000, Ленинград, центр,
Красная ул., 1/3.